



ДОН_новый 13/1

Литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей России, министерства культуры Ростовской области и Ростовского регионального отделения Союза писателей России

Главный редактор Г. В. Студеникина

Общественный редакционный Совет:

А. Г. Береговой, Ростов-на-Дону
В. А. Воронов, Ростов-на-Дону
А. И. Глазунов, Сальск Ростовской области
Н. И. Дорошенко, Москва
Г. В. Иванов, Москва
И. Н. Кудрявцев, Ростов-на-Дону
С. Н. Макарова, Краснодар
А. Н. Можаяев, Можаяевка Ростовской области
Е. Е. Пиетиляйнен, Петрозаводск
А. А. Резванов, Ростов-на-Дону
Н. М. Скрёбов, Ростов-на-Дону
Б. М. Стариков, Тихорецк Краснодарского края

Учредители: Союз писателей России
Министерство культуры Ростовской области
Ростовское региональное отделение СП России

Попечительский Совет:

И. И. Переверзин, Литературный Фонд России
В. В. Свитенко, ОАО «Южтехмонтаж»
Б. М. Стариков, ООО «Пламя»
Н. Н. Грищенко, ООО «Сплав-Алексеевское»
И. И. Муругов, ООО «Транссервис»
А. Г. Береговой, ООО «Издательство «Донской писатель»»
О. В. Токарев, ЧП

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»»

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

Николай Дорошенко. *Рассказ о ненаписанном рассказе. О некоторых наших напрасных свойствах.* Рассказы. 108

ПОЭЗИЯ

Иван Переверзин. *Ничего, кроме счастья.* Стихи. 16

Виктория Можаяева. *Ещё я умею...* Стихи. 47

Леонид Дьяков. *Две берёзы.* Стихи. 103

Игорь Кудрявцев. *Выйду из дома к облаку я...* Стихи. 122

Владимир Моисеев. *Из подсолнухов грешных...* Стихи. 137

Валерий Клебанов. *Над разливом дней.* Стихи. 147

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей Береговой. *Мы благодарны всем...* 3

Валерий Ганичев. *Русскому Собору 20 лет.* Очерк. 4

Станислав Куняев. *Страницы дневника.* 20

Рэмир Завёрткин. *«Южтехмонтаж». Страницы истории.*

Очерк. 150

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Людмила Малоюкова. *«Голос правды небесной против правды земной».* Эссе. 127

КРУТОЯР

Михаил Михайлович Шолохов. *Как рано зависти привлёк он взор кровавый...* Из книги «Об отце». 52

Борис Примеров. *Пленённый нечаянным светом.* Стихи. 69

Павел Шестаков. *Неизбежность.* Роман-эссе. 72

ДЕТЯМ

Светлана Вьюгина. *Волшебное словечко.* Рассказы для детей. 140

ББК 99(2Рос-Рус)95

Д-107

ISBN 978-5-87612-016-2

Журнал «Дон_новый» № 1, март 2013 г.

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»

Над выпуском работали:

Атланова Н. С., Береговой А.Г.,

Малов П.Г., Студеникина Г.В., Ханин Д.И.

Художник Коновалова Н.Я.

Директор издательства Береговой А.Г.

Тираж 950 экз.

т.ф. 8-918-599-67-51; 8-988-567-43-95; 8-918-854-80-59

e-mail: donpisatel@yandex.ru

Журнал

«ДОН_новый»

распространяется на территории России и стран СНГ

Содержание журнала не всегда отражает точку зрения редколлегии на затронутые авторами темы.

За точность имён, фактов и цифр ответственность несут авторы.

Редколлегия оставляет за собой право не разъяснять авторам причины отказа в публикации их произведений.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Все произведения в журнале публикуются пока на безгонорарной основе.

Авторам предоставляются бесплатно по 2 номера журнала (с их публикациями).

Свои произведения авторы присылают в журнал только электронной почтой по адресу издательства «Донской писатель» в программе «WORD» без макетирования, без архивирования.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ...

Года два назад, во время моего очередного приезда по делам Союза в Москву, Валерий Николаевич Ганичев в разговоре со мной, высказал пожелание: «Нужно возродить журнал «Дон».

Слова эти не были сигналом к действию, они были скорее советом, но заставили призадуматься. По возвращению в Ростов мы обсудили этот совет с членами правления, и все, присутствующие на заседании ростовские писатели, с ним единодушно согласились: «Да, надо, и обязательно — под учредительством Союза писателей России, как правопреемника Союза писателей РСФСР».

К тому времени Ростовское региональное отделение Союза писателей России уже имело газету «Донской писатель», альманах «Дон и Кубань», который стремительно набирал российскую известность и популярность, — донские писатели получили возможность регулярно публиковаться; печатались в альманахе и писатели Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска, Вологды, Карелии, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Брянска, Владивостока, Краснодарского края, а также — Украины и Белоруссии.

Но нужно было как раз то, о чём сказал руководитель нашего Союза: ради сохранения традиций русской литературы возродить утерянное.

И уже осенью прошлого года я попросил Валерия Николаевича Ганичева письменно передать права Союза писателей России на журнал «Дон» Ростовскому региональному отделению Союза писателей России и получил необходимое письмо.

Журнал «ДОН_новый» не претендует на правопреемственность «Дону» прежнему, его заслуги и ордена. Мы создаём действительно «новый» журнал, однако считаем себя моральными, духовными и творческими наследниками тех донских писателей, которые создавали «Дон».

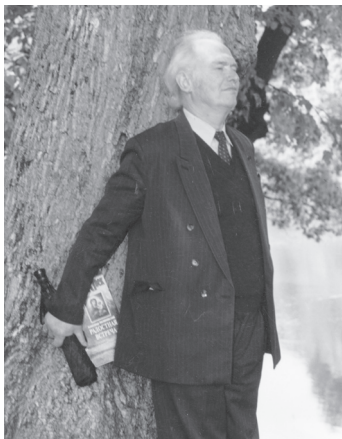
Мы считаем, что получили большую моральную поддержку от руководителей наших литературных организаций: В.Н. Ганичев, И.И. Переверзин, С.Ю. Куняев, Н.И. Дорошенко охотно предоставили свои произведения для публикации в первом номере журнала. Г.В. Иванов, Н.И. Дорошенко, Е.Е. Пиетилиянен, С.Н. Макарова согласились войти в состав Общественного редакционного Совета.

Мы благодарны также Ивану Ивановичу Переверзину, Виталию Васильевичу Свитенко, Борису Михайловичу Старикову, Николаю Николаевичу Грищенко, Ивану Ивановичу Муругову, Олегу Владимировичу Токареву, вошедших в Попечительский Совет и оказавших материальную помощь в издании журнала.

Мы благодарны всем, кто принял активное участие в создании журнала «Дон_новый».

Алексей Береговой, председатель правления Ростовского регионального отделения СП России.

Валерий Ганичев



РУССКОМУ СОБОРУ 20 ЛЕТ

Да, — 2013-й год, и Всемирному Русскому Народному Собору (ВРНС) уже 20 лет. С одной стороны, срок небольшой, а с другой стороны, если бы Собор не возник, то до сих пор со стороны газет и журналов, подобных тогдашним «Известиям», «Независимой газете», «Коммерсанту», «Огоньку», «Московскому комсомольцу», да и другим, так называемым СМИ, так и несло бы: «Россия — бывшая тюрьма народов», «Патриотизм — последнее убежище негодяев, русский национализм — наибольшая опасность для страны», «Эта страна» — подразумевая, да и называя, Россию нецивилизованной, отсталой, мракобесной, требуя изменить её национальный код. В начале и середине 90-х годов восторжествовал в стране необузданный, по сути бандитский, капитал, с удовольствием спаривающийся и подчинённый иноземному, коварному, космополитическому, мировому, финансовому и политическому монстру.

Для олигархического капитала и его слуг в России всякого рода национальному чувству не было места. Его сердце и душа переместились на Уолл-стрит, в банки Америки, Англии, Швейцарии, Тель-Авива, да ещё в оффшоры Кипра и других территорий. Страна оставалась раздетой, разутой, обобранной в результате «демократических» реформ.

Слов нет, ряд свобод она получила. Можно было проводить митинги, собрания; издавались газеты и журналы, которые, впрочем, скоро были прибраны к рукам тех же олигархов или западных хозяев. Стали говорить о необходимости свободы для разных национальных объединений, народов и народностей.

Президент Ельцин со щедростью разгулявшегося купца провозгласил, обращаясь к национальным республикам и объединениям: «Берите суверенитета столько, сколько возьмёте», — тем самым подталкивая их на отделение от России. Многие из безответственных политиков и деятелей-говорунгов и взяли. Страна трещала. А ведь уже после 91-го года 25 (!) миллионов соотечественников осталось вне территории России. 25 миллионов — это ведь не пара или сотня человек. Русский народ оказался разделённой нацией. Когда немцы разделились второй мировой войной, то вся

Ганичев Валерий Николаевич – председатель Правления Союза писателей России, писатель, публицист, профессор, заместитель Главы Всемирного Русского Собора. Живёт и работает в Москве.

«сердобольная» западная печать застонала, говоря о несправедливости истории, хотя, если говорить откровенно, то Англия, Франция, да и Америка потихоньку радовались ослаблению конкурента. Вьетнам с винтовкой, вернее с автоматом Калашникова, переданным Советским Союзом, объединил многомиллионный народ Севера и Юга страны. Горбачёв объединил Германию, получив за это звание «лучший немец». А «лучшего русского» не нашлось. Я уже писал: Россия, теперь уже РФ, трещала и внутри и вне. Беззастенчиво и бесцеремонно выгоняли, выжимали русских людей из Грозного и Кишинёва, Ташкента и Баку, Тувы и Казани.

Те, кто восстанавливал хозяйство этих земель, учил детей, утверждал передовую науку, в одночасье превратился в «оккупантов». Зазвучал лозунг: «Чемодан! Вокзал! Москва!» Вот так. В своё время оттуда звучали призывы: «Создайте азбуку, научите грамоте. Постройте школы и вузы, создайте заводы». Радостно потирали руки иноземные заводы. А местные начальники — неудачники при советской власти, воссели в креслах, некогда занятых умными и преданными делу коллегами: русскими, украинцами, белорусами. Оставляя квартиры, нажитое добро, добрые воспоминания, глотая слёзы обиды, они брали с собой тощие чемоданы, уезжали в Россию, где их встречали неохотно, ибо не ждали. Чиновник, который искал способ немного пожить на горе страны, тянул с правом на гражданство, получением паспортов, ссуд на строительство. Россия трещала. Её били, обзывали, призывали; принуждали унижаться и, конечно, пытались расчленивать. СМИ захватили те же олигархи, с выпестовавшимся ещё в советское время псевдоинтеллигентным планктоном, способным восхищаться только американским, западным образом жизни, с презрением относившимся к многовековым традициям и культуре России. Это была «подножная» интеллигенция. Её подкармливали, возвышали; отдали ей на откуп телевидение; с её помощью меняли образ жизни и мысли русских людей. Так, с помощью олигарха Березовского, фактического властелина страны, в одном из залов Большого театра вручалась стотысячная долларовая премия «Триумф» тем, кто отступал от уникальной русской культуры, её образа, её смысла. Текли премии из-за границы от разных фондов, а их было немало. Целые журналы «Новый мир», «Знамя» жили на деньги фонда американского воротилы Сороса. Народ, в основном, интеллигенция, дрогнул. Россию стали покидать изобретательные умы, энергичные люди. Чтобы сокрушить советскую власть, в 80-е годы на все лады повторялось, что после революции на «пароход умных» было посажено две тысячи философов, историков, социологов, политологов, инженеров, учёных и отправлено за границу. Это, конечно, был печальный факт. Но вот, по некоторым данным, на запад, за границу, в 90-е годы кинулось, уехало около двух миллионов специалистов (!) Советских, русских интеллигентов (!) А кому же думать о России, о русском, о стране? Изменять мир?

Внутри страны пессимисты говорили: «Россия пропала, ей никогда не подняться». Оптимисты с упорством дятла повторяли: «Вот придёт новый Пётр I или Сталин — всё станет на свои места». И лишь реалисты, да уверенно православные люди призывали восстанавливать жизнь, строить, опираясь на русскую культуру и церковь. Часто повторялась крестьянская пословица Руси: «Умирать собираешься, а рожь сей». Страна действительно лежала в руинах, погибала промышленность, добывалось сельское хозяйство, но, главное, убивался дух народа, тот созидательный, неистовый в борьбе и в труде дух. Тот загадочный и извечный «русский дух», который и восстанавливал Россию. И, главное, в нём была Вера, утверждавшая Русской православной церковью, коллективизм, утверждавший в веках общие духовные ценности.

Конечно, дерусификация проводилась всегда, — что в годы советской власти что в царское время, когда с имперских университетских кафедр неслись проклятья царскому строю и этой стране. Но в 90-е годы она достигла предела. Из школ изгонялась

Русскому Собору 20 лет

русская классика; герои великих драматургов на подмостках театров превращались в акробатов, жонглёров, завсегдатаев «улиц красных фонарей». Театр перестал быть русским; за ним следовали — школа, библиотеки, клубы. В драме «Борис Годунов» А. Пушкина, когда, взяв у стрельцов грамоту, единственный грамотный человек в кабаке приводил слова опознания о беглом монахе Гришке Отрепьеве, поглядывая на Варлама. Стрельцы уже приготовились хватать Варлама, но тот вскричал: «Постой, постой, если дело доходит до петли и шеи, то и я прочитаю!» И, когда он стал читать явственно прописанные черты Гришки Отрепьева, будущего Лжедмитрия, Гришка сиганул в окошко. Но вот тогда, в 90-е, когда дело «дошло до петли и шеи», русский люд встрепенулся. В то время во всех автономиях, национальных землячествах были созданы национальные союзы, федерации, объединения по национальному признаку. И лишь у русских такого объединения не было, они ещё «парили» в Советском Союзе, но постепенно раздавались национальные «сейсмические» толчки, которые могли и превратиться в национальное разрушающее землетрясение. Были ведь и героические одиночки, постоянно говорящие о русском духе, русском деле, русском языке, русской школе, русской культуре, Русской Вере. Нельзя не вспомнить таких людей, как И. Глазунов, В. Солоухин, И. Шафаревич, Л. Бородин, существовал «Русский клуб» С. Семанова, А. Ланщикова, П. Палиевского, Д. Жукова, В. Гуминского, С. Небольсина и др.; личности писателей Ю. Лоцица, П. Паламарчука, С. Лыкошина, С. Куняева, А. Проханова, С. Викулова; мастерская Ю. Селиверстова. Но не было их объединения. Уже не было М. Шолохова. В загоне были Г. Свиридов, С. Бондарчук. Нужна была организация — общественная, сильная, массовая организация, сила, которая была бы направлена на защиту прав и места русского народа в этом государстве.

Помню первый «Русский Собор» генерала Стерлигова. Как и откуда он взялся — это дело историков и спецслужб. Но мы все, русские патриоты, кинулись туда. Я был на первом и втором Соборах в Нижнем Новгороде. Была радость, а потом и тревога: о чём они? И те Соборы напомнили одну сценку, которую мне рассказал тогда (ещё митрополит) Кирилл: «Вот видишь, — женщины, во время трапезы. Обрати внимание: они все говорят одновременно, все задают друг другу вопросы и одновременно все друг друга не слушают».

Да, Русский Собор генерала Стерлигова напоминал эту группу женщин: на нём были монархисты, республиканцы, коммунисты, неопиты-священники, атеисты со стажем. Они все говорили непрерывно, задавали и задавали вопросы и, конечно, не слушали собеседников. Немудрено, что Собор развалился.

Был ещё второй, представительный поиск. В киноконцертном зале «Россия» проходил I Русский Конгресс. Он порождает надежды. На его открытие собрались сотни людей. Его организовали довольно авторитетные силы, которые возглавлял Сергей Бабурин (РОС), Виктор Аксютин (Христианская партия) и Виктор Астафьев (партия кадетов). Это был впечатляющий, горделивый своей миссией Конгресс, хотя уже это слово ставило знак вопроса над его сутью. В зале сидели солидные созерцатели, вдоль рядов ходили подвыпившие казаки. Были и обычные завсегдатаи политических митингов, своеобразные старинные новгородские мужики-крикуны или, как их называли раньше, «горлопаны», восторженные юнцы и испуганные старушки. Я заметил (ну, как же не быть на русском собрании, да и — пригласили) и наблюдателей. Галина Старовойтова что-то лихорадочно записывала; спокойно, хотя и настроенно, следил за ходом Конгресса бывший работник ЦК партии, будущий посол новой власти в Израиле, Бовин. Видимо, они делали выводы, сколь сильна эта нарождающаяся сила. Но силы ни тогда, ни в ближайшие дни не народилось: уж очень разными, хотя и хорошими, там были люди. Всё-таки коня, лебедя и щуку в одну повозку не запречь. Да и кучера не было. Была ещё в то время претендующая на «русскость» партия «Держава» амбициозного и уверенного в себе Рудого, а также ещё существующее общество «Память», немало сделавшего для восстановления

исторических событий (но вызывающее, даже провокационное, поведение некоторых его членов определяло его, как структуру, организованную спецслужбами или даже ЦРУ. Уж так они были неуравновешенны, и ничего не боялись).

В один из вечеров мой сосед по дому, писатель Олег Васильевич Волков, слегка грустя, сказал: «Неладно на Руси, не объединяется народ». Волков был потомком адмирала Лазарева, автор «Рома-газеты» и, безусловно, патриот России. А мне перед этим бывший бунарный комсомолец, член немного мифического русского Конгресса Юра Луньков, зная, что я печатал О. Волкова и его «Погружение во тьму», и у меня хорошие с ним отношения, сказал: «А не поговоришь ли ты с ним, чтобы он возглавил комитет по созыву и созданию Русского Собора?». Так я и Олег Васильевич оказались на первых, неопределённых ещё по задачам собраниях по созданию русской организации. Там становилось ясно, что на общественную арену выходит Русская Православная Церковь. На первом заседании оказалось, что мозгом и мотором нарождающейся организации стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Я думаю, что в Патриархии давно искали, помимо церковных структур общин верующих, опору в массовой общественной организации. У общества такая тяга была, у церкви понимание такой общественной силы было всегда. Была выбрана главная основа — русский народ, вокруг которого объединялись все народы страны. Без особых споров с нашей стороны решено было собрать I съезд русских. Потом стало ясно, что надо назвать его I Всемирный Русский Народный Собор. Слово «всемирный» проводило связь с эмиграцией в дальнем зарубежье и протягивало руку соотечественникам в странах близкого зарубежья.

К сожалению, Олег Васильевич Волков, замечательный писатель, отсидевший в лагерях и ссылках 29 лет, не потерявший уважения и любви к стране, к России, в этот момент отошёл от движения. Возраст был близок к 90 годам, да и здоровье пошаливало.

I Соборный съезд состоялся. Заседание проходило в Даниловом монастыре, в Патриарших палатах. Митрополит Кирилл посетил все секции, внимательно слушал, общался с его участниками, сделал центральный доклад. Соучредителями съезда явились: отдел международных сношений Русской Православной Церкви, Земское движение, «Роман-журнал» (я был там главным редактором), объединение «Белая Русь», Русский Конгресс, Русский университет и другие. Были выбраны пять сопредседателей — митрополит Кирилл, главный редактор «Роман-газеты», писатель, профессор В. Ганичев, профессор Н. Нарочницкая, политолог Ю. Луньков, экономист и предприниматель О. Кольченко. Вот тогда и стал уже по-настоящему складываться Всемирный Русский Народный Собор. На первых заседаниях слышались многочисленные стоны, чувствовалась боль соотечественников, вставал вопрос о массовом воцерковлении, о защите русских людей, о культуре, традициях и становлении святынь.

Многие из участников ещё не понимали, куда они попали, пребывали сначала в митинговом экстазе, курили в Патриарших покоях, безмерно громко кричали, были не выдержаны и нетерпеливы.

Мы и, в первую очередь, митрополит Кирилл успокаивали, обсуждали спорные вопросы, выстраивали линию поведения и защиты. И самое главное, впервые с такой всероссийской трибуны прозвучали слова «разделённая нация», прозвучали слова о решающей роли русского народа, о национальном самосознании, национальной культуре, а обществу стало ясно, что без духовной силы православия Русской Православной Церкви воссоздания России не произойдёт. А тогда у очага России стояли многие охотники разделить, разорвать, обмельчить её в территории, силе духа.

Ошеломило многих заявление митрополита о том, что универсализм церкви

Русскому Собору 20 лет

на этом этапе, как и на других, сыграл громадную роль в истории государства Российского. Он не изгонял интернационализм, а как бы растворял его в более вещественной категории. Стержнем и опорой принципа универсализма явилась воспитанная православием русская ментальность, которая пропитывала и скрепляла государство в единый организм. Стойкий, терпеливый, смиренный и жертвенный, одушевлённый высшим, религиозным, смиренным идеалом русский народ был способен вынести любой груз, в том числе, и тяжесть ойкумены. «Вошедшая в поговорки загадка русской души — это загадка Российского государства», — сказал митрополит Кирилл. Это, конечно, в условиях растерянности, раздоров в обществе, противостояния различных групп был нитью, канатом соединения и единения государства в единый организм. Громко и явственно с общероссийской трибуны из Свято-Данилова монастыря прозвучало в ответ на все внутренние и внешние беды: «Для русских не остаётся никакого пути, как путь возрождения своего национального начала». А вслед за этим здоровый упреждающий голос церкви: «Это возрождение по своей природе не может быть узко националистическим». И здесь, в развитии русского национального начала, единственной силой, способной оплодотворить и реализовать русую национальную идею без того, чтобы навсегда погубить универсальную миссию нашего народа, является Православная Церковь. И это была не самонадеянность, не клерикальная амбициозность, а та реальность, которую начало создавать в 90-х годах русское общество. И потому с этого момента РПЦ явственно становится духовным лидером (каким она и была фактически все годы) в общественной миссии русского народа и в широких общественных кругах. Но до этого ещё было так далеко, — говорил тогда митрополит Кирилл.

«Без всякого сомнения, — сказал он, — русской церкви ещё много надо сделать, чтобы она «воспряла» (!)

Тут дело и в возрождении и строительстве храмов, и, главное, в церковном возрождении народа. А для этого необходим личный духовный подвиг каждого. А подвиг требует сил, жертвы.

Итак, первый Русский Собор не обещал лёгкой победы, торжества. Он потребовал подвига от каждого, кто заинтересован в возрождении России и русских.

С таким откровенным, жёстким, но указующим разговором в обществе ещё никто не говорил. А это был язык сражения, язык борьбы: отступить некуда — позади Россия!

Собор принял специальное заявление, многочисленные документы секций.

Создание общественной организации русских состоялось. Да, именно общественной организации, как подчёркивала церковь. Не церковной, не клерикальной, а общественной.

Да, это был исторический момент, в копилку которого ложились и ложились всё новые средства и усилия. Вот один пример: в конце был приём, в центре зала стоял патриарх Алексей II, глаза его, как всегда, лучились, он был доволен результатом, на приём примчался сподвижник Ельцина, будущий зам. главы правительства Шумейко. Власть, получив информацию, решила, что надо быть! Мероприятие стоящее и, пожалуй, таких ещё не проходило. И с того появления уже на каждом Соборе был премьер или президент, приветствия от них. Были и представители политических партий разных направлений, оценивавшие события. Ко мне подошёл на приёме Геннадий Зюганов и попросил представить Патриарху. Я подвёл Зюганова и сказал: «Вот представитель партии КПрФ». Патриарх улыбнулся — он, конечно, знал Зюганова, а тот сказал, что их партия тоже борется за мир и согласие, за возрождение России. Патриарх одобрил сию позицию и, к удивлению многих, благословил Геннадия Андреевича, который с тех пор присутствовал на всех пятнадцати Соборах.

Митрополит Кирилл барражировал по залу, подходил к каждой группе, как бы скрепляя единой нитью. Собор задышал. Его заключительное слово из его Заявления потекли в разные стороны и страны.

«Россия — мать русских, и наш святой долг оказывать поддержку всем русским... Каждый русский должен знать, что Россия — его отчий дом, здесь его помнят, ему сострадают, ждут, всегда готовы принять под свою кровлю».

Очень и очень ответственное и обязывающее всех нас Заявление.

Именно I Собор имел главную задачу: собрать духовные силы страны, духовные силы русского народа. А то ведь в 90-е годы многие были ошеломлены невзгодами, неудачами страны, ушли в себя. Появилось на фоне разобщённости, даже взаимных обвинений чувство одиночества и растерянности, разрушительности всего, включая страну.

Надо было осмотреться, подумать, собрать мыслящие силы страны для возрождения. Надо было «вызвать» из глубин веков предков с их взглядами, с их опытом преодоления смуты. Поэтому первый Собор и был посвящён Сергию Радонежскому и имел название «Российская духовная мысль». И когда она стала собираться, когда стала работать вокруг Собора, второй Собор уже имел линию поведения и деятельности, определив свою повестку так: «Через духовное обновление к национальному возрождению». Это и стало линией Собора.

I. Кто был нашим противником?

Ну, ясно, что это — русофобы всех мастей в стране и за рубежом. Это — многие либеральные лидеры и их пресса. Это — отпетые западники. Это — многие «новые русские», среди которых было немало и старых евреев и хапуг всех национальностей, обобравших народ и всеми способами капитал за границу. Это — напуганные многочисленными годами русофобии обыватели и администраторы, которых советский агитпроп страшил жупелом шовинизма, а у нынешних властей этот страх остался и даже усилился.

Присутствие церкви в Соборе озадачило и напугало русофобов-западников и либеральных, небескорыстных вождей. Они считали её своим союзником в разрушении Советского Союза. А тут? Церковь же, конечно, не разрушала и не восстанавливала Советский Союз, понимая его грехи-беды. Она воцерковляла народ, она понимала, что у этого народа должна быть крепкая, независимая — своя держава.

Тут и проявились истинные намерения врагов России, которые явственно высказал столп американской дипломатии и мировоззрения Бжезинский, коего возносила наша русофобская братия: «Главной опасностью после разрушения коммунизма является русская православная церковь». В то время либеральная верхушка ещё не решилась открыто нападать на церковь (это потом, после миллионных очередей к поясу Богородицы, были спущены на поводке бесноватые «Пуси Райт»), но, тем не менее, в кулуарах и прессе о первых двух Соборах, которые набирали силу, раздавались голоса: «шовинизм», «национализм», «мракобесие» и даже пресловутые «красно-коричневые». Но Собор было уже не закрыть, не заглушить, не остановить. Русские люди увидели в нём опору и надежду, в первую очередь потому, что стержнем была Русская Православная Церковь.

Клика Березовского, Гусинского, Невзлина и других воротил, вообразивших себя полными хозяевами России, «просмотрела» Русский Народный Собор, не подсунула, не продвинула в его руководство своих людей, как они обычно делали в таких случаях. Но борьба отнюдь не закончилась. Особенно много царрапин, а то и ран, пытались нанести митрополиту Кириллу, обвиняя его в разных грехах.

II. Кто был нашим союзником, основой Собора, поддерживал нас?

Конечно, Собор опирался на массы русских и нерусских людей, особенно важно было привлечь людей, мысли, культуры, труда — то были мировоззренческие стержни Собора, несущие свет и знания, его опора.

Русскому Собору 20 лет

Жёсткие и непримиримые выступления писателя Валентина Распутина, восторженные речи первого лауреата премии Патриарха Владимира Крупина, будоражащие сознание речи художника Ильи Глазунова; тонкие, рассчитанные на многоходовки, слова чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова; весомые и убедительные речи ректора МГУ Виктора Садовничего, вразумительно духовное слово композитора Георгия Свиридова, дирижёра В. Федосеева, как бы придавали музыкальность Собору, рядом с песенным словом певицы Т. Петровой, делами и картинами художника В. Сидорова, язвительными замечаниями Героя Советского Союза, разведчика Владимира Карпова, взявшего в плен 75 «языков», так же, как боль за детей главы Детского фонда Альберта Лиханова; рассудительные, обзирающие наш мир сверху взгляды космонавтов Крикалёва, Севастьянова и Леонова; зажигательные то ли стихи, то ли речи народного артиста, поэта Михаила Ножкина, а впечатляющее слово писателя-афганца Виктора Николаева, вызывающего восторг экспромты Героя Советского Союза и Героя России полярника Артура Чилингарова... Их были сотни, тысячи огранённых драгоценных и неповторимых людей Отечества. Вспоминаешь и вспоминаешь, как ярко выступал мудрец и обличитель «Холуяжа» драматург Виктор Розов, главный редактор «Нашего современника» С. Куняев, спасители нашего здоровья академики Анатолий Чучалин и Анаторлий Цыб, учёный-ядерщик Радий Ильяев (кстати, из Сарова, где мы создали отделение ВРНС). А мыслители, художественные критики и публицисты В. Гуминский, С. Небольсин, Ф. Кузнецов, А. Кожин, Л. Баранова и борцы за русскую школу профессора Е. Белозерцев из Воронежа, Н. Гончаров из С-Петербурга, Е. Троицкий из Москвы. А мыслители, составители документов первых Соборов С. Лыкошин, Э. Володин, С. Перевезенцев, С. Котькало и, позднее, С. Анисимова, Н. Жукова, В. Шатохин, М. Белоусова. Это был подлинный иконостас — его мысль, его душа. «Россию не победить. У неё такая культура, такая наука», — сказал композитор В. Федосеев. Ответственными секретарями Собора были люди, преданные делу: Андрей Поздняев, Олег Ефимов. Сейчас непомерную ношу несёт Олег Костин, «взваливая и взваливая» на Собор новые мероприятия.

Заседание — вначале в гостинице Данилова монастыря, а затем — в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. Там, на Соборе, внимательно выслушивал зал людей разных воззрений и точек зрения. С уважением отнеслись и к представителям других религий. Так, верховный муфтий России Талгат Тайджуддин сказал на Соборе знаменитые слова: «Для мусульман России Святая Русь — тоже святая Русь». Это ли не торжество людей России.

Особое внимание, хотя часто и насторожённое, было проявлено представителями власти. Так показал своё уважение к Собору, придя и выступив на нём, Президент России Владимир Владимирович Путин. А представители Думы и Совета Федерации, её руководители были постоянно участниками и гостями Собора. Я бы сказал об особом отношении к Собору Л.В. Слизкой, которая выступала на нём с приветствием и специальными докладами, как и депутаты С. Попов от Омска, А.Гаврилов от Воронежа или Г.Ивлиев от Оренбурга и др.

Интересными были доклады Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, постоянно участвующего в работе Собора и включающего православные проблемы действия России за рубежом.

Ну, и, конечно, представителей политических партий, некоторые из которых и слышать до поры до времени о каких-то специальных русских проблемах не хотели.

Так накануне 2000-летия Христианства в декабре 1999 года состоялся V Всемирный Собор с повесткой дня: «Вера. Народ. Власть», что решающим образом влияло на отклик народов и государства. Наверное, не было такой трибуны в стране, где выступили одновременно представители большинства политических партий, фракций и избирательных объединений.

А на Всемирный Русский Народный Собор в церковь они пришли, хотя обстановка в стране была напряжённой; наверное, это был очень представительный сбор различных политических групп, многие из которых учились говорить и слушать оппонента. Это были представители крупнейших парламентских партий и движений: «Союз» (Н. Рыжков), «Наш дом — Россия» (В. Черномырдин), КПРФ (Г. Зюганов), ЛДПР (В. Жириновский), «Отечество» (Ю. Лужков), «Женщины России» (А. Федулова), «Яблоко» (Явлинский), «Российский общенародный союз» (С. Бабурин), «За гражданское достоинство» (Э. Панфилова, «Кедр» (А. Панфилов) и другие.

Это был представительный форум, на котором звучало много важного, и с тех пор в программах и заявлениях почти всех партий стали появляться статьи и положения о России, русском народе о национальном самосознании и культуре. Правда, часто лишь формальные.

Ну, я не могу не сказать о губернаторах, многие из которых понимали роль Всемирного Русского Народного Собора. Отделения Собора были созданы в Волгограде (губернатор Максютя), Белгороде (губернатор Е. Савченко, много внесший в практику служения России), Смоленске (где губернатор, который крестился уже будучи взрослым человеком, сказал важные слова: «Наконец-то я заговорил языком собственного народа»). Но, что касается духовных особ, я не касаюсь их духовного сана и не могу давать им оценку — это делает Патриархия. Но не могу не сказать о тех, с кем мы, ВРНС, сотрудничали, получали поддержку на протяжении ряда лет.

Это, конечно же, митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, много сделавший для прославления святого праведного адмирала Фёдора Ушакова; это — митрополит Челябинский Феофан в Магадане, Ставрополе и Челябинске, помогавший соборянам; митрополит Иннокентий, приехавший из Читы и находящийся ныне в Париже для немало добрых наущений в наших делах. Это — митрополит Калужский и Боровский Климент, выступавший на многих соборных мероприятиях; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, словом и мыслью которого мы не раз ободрялись в Екатеринбурге, Туле и Ярославле. Я не могу не сказать о двух блестящих пастырях архимандритах Сретенского монастыря Тихоне и Свято-Даниловского монастыря Алексии, на чьи плечи и мудрость мы не раз опирались. Называть можно многих, но весь путь с Собором прошёл отец Всеволод Чаплин, вначале как его участник, внимательный редактор, а теперь, став заведующий отделом Патриархии по связи с общественностью, уже и нашим «начальником», заместителем Главы Всемирного Русского Народного Собора.

В общем, я называю лишь малую часть наших помощников и соборян.

III. Да, хотелось бы видеть себя продолжателем лучших общественных традиций.

Ну, например, Собор примирения 1549 года. Его тоже не следует забывать и относиться, как к исторической игрушке. Другие, конечно, времена, другие нравы. Но многие нравы, что взамен дубины (а не существа «прав человек») появилось страшное «чудище поганое» — взятка. Но это знакомое чудище; при Петре I была порка за взятки, позднее были и ссылки, но явление укоренилось, хотя пригасилось в советские годы.

Но вот в 90-е годы опять расцвело на всех уровнях. Тут должны быть и закон, и совесть. Закон должен быть беспощадным и видимым всему обществу, а совесть должна не утихать. Дома, в семье, в школе, на работе, в СМИ. А то ведь... Помните слова бывшего мэра Москвы Гавриила Попова: «Мы должны проявлять больше хамства». — Ну, где тут до совести? А что касается предложения взять пример с Собора 1549 года, когда он объявил борьбу со взяточничеством, коррупцией, то Собор всегда был против коррупции. Внесите данный вопрос в президиум Собора — я за его обсуждение и за решительную борьбу со злом.

IV. Какой Собор больше всего запомнился?

Ну, честно говоря, каждый Собор по-своему значителен и важен. Но некоторые открывали новую важную страницу в истории не только ВРНС, но и в принципиальных общероссийских и даже мировых ситуациях.

Так, впечатление разорвавшейся бомбы в либеральных и прозападных кругах произвёл X Собор «Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке» в 2006 году в Москве. Как всегда, спокойно и уверенно выступал патриарх Алексей II с докладом «Права человека и нравственная ответственность» выступил митрополит Кирилл. Это был церковный и общероссийский ответ на «пугало прав человека». Некоторые страны и политические круги в мире присвоили себе право судить людей и даже страны, не обращая внимания на их особенности и историю. И это право прикрывалось троянским конём прав человека.

«Православная традиция, — сказал митрополит Кирилл, — являющаяся культурообразующей для русской цивилизации, не может ответить на этот вызов, иначе русский мир, превратится в маргинальное явление в современном мире».

Воздав должное провозглашённым правам человека в борьбе с безбожием, унижением и злом, митрополит Кирилл отметил, что концепцией прав человека часто прикрывается ложь, неправда, оскорбление религиозных и национальных ценностей; кроме того, в комплекс прав человека постепенно интегрируются идеи, противоречащие не только христианским, но и вообще моральным ценностям о человеке. Всё это переводило тему прав человека в тему спасения человека.

Это был незабываемый доклад. Он был, с одной стороны, глубоко философский, мировоззренческий, размыслительный, призывающий к раздумью о судьбах человека и человечества; в то же время он был глубоко богословский, православный, со ссылками на Евангелие и другие священные издания.

Удивительная насыщенность мысли, высокий слог, образность и безусловные филологические достоинства были в этом докладе. Ко мне ещё после первого Собора подошёл восторженный соборянин и предложил: «Что, если мы выдвинем митрополита Кирилла президентом страны?» Я был в недоумении и ответил: «Спросите сами у митрополита. Да, кроме того, Русская Православная Церковь не рекомендует священникам участвовать в выборах во властные органы страны». — «А как же митрополит Макириос на Кипре?» — «Ну, это другая страна».

Но ещё одну информацию о докладах, выступлениях и беседах митрополита Кирилла передал мне один человек, присутствовавший при встрече президента Венесуэлы Гонсалеса с митрополитом во время его латиноамериканской поездки по православным храмам. Президент радушно его приветствовал и сказал: «Мне только что позвонил Фидель Кастро и сказал, что сейчас будет беседовать с самым умным человеком планеты». Фидель уже встречался с митрополитом на Кубе, а в ответ на новую реплику главы Венесуэлы, который то ли в шутку, то ли всерьёз попросил: «Примите меня в православие», — митрополит Кирилл отшутился, в свою очередь: «Только со всем народом».

В общем, в выдающихся способностях митрополита, заместителя Главы Собора никто не сомневался, но этот доклад был особенный. А доклады на других Соборах, также как и выступления Патриарха Алексия II, были ключом для всех Соборов и Соборных встреч. А Соборные встречи во многих случаях играли роль Собора.

Этот же Собор имел заграничное продолжение. Действительно, решения Собора получили поддержку не только в стране, но и за её пределами. Церковь, верующие христиане, особенно католики, подверглись нападкам. Почти из всех конституций стран Европы христианство, которое было колыбелью и творцом этих стран, было изгнано. Страны Европы секуляризировались. Однополые браки — пожалуйста, гомосексуализм — пожалуйста, всякого рода проституция — пожалуйста; а вера, крест — ни за что. Это запрещалось, якобы, «правами человека». Верующие, церковь

на Западе стали искать опору в решениях Русского Собора, выступлениях патриарха Алексия и митрополита Кирилла. Я присутствовал, выступал с докладом о роли литературы на конференции в Вене, которую организовали европейские католические и другие религиозные организации. Конференция пригласила митрополита, с которым была большая делегация наших священников, докторов наук, специалистов в области Веры, юриспруденции, культуры. Конференция носила удивительное, обращённое к обществу и властям название «Верните душу Европе». В докладах и сообщениях западных коллег звучали довольно резкие слова и заявления. Например, «Европа представляет из себя колосс на тонких духовных ножках», или «Мы кричим, что варвары на границе Европы, а они в наших СМИ и правительствах». И это ведь говорили не левые, пророссийские политики, а западные богословы и культурологи, каждый раз раскрывая агрессивность и бесцеремонность в так называемых правах человека. Так что, о решениях Собора узнавали всё шире и шире. Да, тем более, что Собор ассоциировался при ООН и в европейских организациях.

Так, совершенно уникальной была Соборная встреча «Вера и знание». Впервые в истории России за столом президиума и в зале заседания были Патриарх (Алексий II) и президент Академии наук (Ю. Осипов), митрополит Кирилл и министр науки и технологий Фортвов, многочисленные учёные, академики, доктора наук, владыки и другие священники, люди церкви и науки. Заседание проходило в Москве и Троице-Сергиевой Лавре. Был вразумительный, разноплановый, незашоренный разговор о вере и знании. Запомнилась речь доктора или даже академика Бехтеревой: «Я занимаюсь физиологией мозга. Мы постоянно вторгаемся в него, изучаем его и вдруг, дальше непонятно ничего — дальше Творец».

Да, для России XX и даже XIX века это был необычный разговор, ведь сотню-другую лет убеждали, что наука и религия несовместимы; люди творческие, интеллектуалы не могут быть верующими. А как быть с Ломоносовым, Пушкиным, Гоголем, Достоевским; как быть с академиком Павловым, маршалом Жуковым? В разговорах родилась формула, которая определяла итог этой уникальной соборной встречи: «Наука и религия не антагонисты!»

Ну, и вот Соборная встреча, как говорится, из другой оперы.

Собор и РПЦ провели Соборные слушания «Ядерные вооружения и национальная безопасность России (1996 год)». Там было подчёркнуто митрополитом Кириллом, что Русская Православная Церковь на протяжении многих десятилетий вела активную миротворческую деятельность. Но в те годы было видно, как разваливается «ядерный щит державы»; останавливались многие уникальные предприятия, разрушались атомопроизводящие города и центры, уходили из жизни те учёные, которые отдали его созданию всю свою жизнь (только что застрелился один из руководителей такого центра в Челябинске). Соборная встреча проходила в МГУ и прозвучала серьёзным предупреждением всем силам, которые пытались ослабить страну. В заявлении по итогам Собора было твёрдо сказано: «Россия не сможет обойтись без своего ракетно-ядерного щита». Это ведь было не заявление МИДа или Министерства обороны — это было не двусмысленное заявление русской общественности, заявление русской церкви. Особенно, когда НАТО подошло к нашим западным границам. И, как сказал митрополит Кирилл, в ответ на обвинения РПЦ и его лично в агрессивности: «Россия с её потенциалом не может уйти в небытие, потому что Россия не просто страна, это континент, и гибель России будет означать гибель человечества».

Ещё о наших скрепах.

Конечно, это — русский язык. Русскому языку выпала миссия языка объединителя, и это не имперская амбиция, а плод влияния и развития его на протяжении веков от Киевской Руси, но самое главное — это язык великой культуры, литературы: Ломоносов, Державин, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, Блок, Есенин, Шолохов, Леонов, Ахматова, Распутин, Белов, десятки писателей.

Русскому Собору 20 лет

Собор заявил об ответственности каждого русского человека о состоянии русского языка. Тогда, когда во всём мире развернулась агрессия массовой культуры, культурно-языковая экспансия, в условиях стандартизации и «технолизации» действительности ясно, что русский язык нуждался не в декларативной, а действительной разумной созидательной политике, в защите от агрессивной, негативной политики СМИ, от информационно-агрессивной психологической политики.

Многие преподаватели, учёные заявляли, что снова пришло время, чтобы в России относились к языку, слову, как к великому дару, дарованному свыше, как к сокровищнице национальной культуры.

Очень важной была одна из первых Соборных встреч в мае 1994 года, посвящённая русской национальной школе. Мнения разделились. Одни указывали за массовое создание национальных школ — в России были созданы армянская, еврейская, немецкая, английская, испанская. Это хорошо. Но русская 141 школа была в Москве одна.

На этой Соборной встрече, а затем и Соборе выступили Валентин Распутин, Владимир Гусев, Татьяна Петрова, композитор Волков. Внимательно следил за его ходом А.И. Солженицын, который поддержал идею русской школы, защиты русского языка. Он сам предложил составить список русских слов, которые надо вернуть в обиход. Мы громко говорили, что учёные и писатели не борются, как боролись Ломоносов, Сумароков, Фонвизин, Карамзин — с иностранным поветрием, как был беспощаден к манерному иностранничанию великий просветитель, учёный, Государственный секретарь при Александре I адмирал Шишков. Ведь именно такой была его чистая русская, народная, понятная императору речь, в 1812 году. И Шишков написал свои воззвания в тяжёлый час для России о битве Бородино, об оставлении Москвы. И когда её освободили, изгоняя захватчиков из России, великий адмирал возглавил просвещение в России.

Сейчас, слава Богу, книга о Шишкове, его речах вышла в издательстве «ИХТИОС» (главный редактор С. Котьяло), а тогда кто знал Шишкова? Его имя затаптывалось, или просто забывалось, как и всех защитников русской речи.

Не раз заявлялось на Соборе о необходимости установления Дня русского языка. И такой день в день рождения П.С. Пушкина был установлен. В Белгороде появился памятный знак Русскому Слову, в Ульяновске — памятник букве «Ё», в Дагестане — памятник русской учительнице.

И эта работа, а часто — борьба, должна быть продолжена на всех уровнях — и в борьбе за восстановление написания сочинений в школе, и за составление списка соответствий русских слов иностранным. Организовать белгородскую инициативу по борьбе со сквернословием, по созданию системы штрафов и замечаний. Установить премии за чистоту и культуру русского языка.

В общем, нам предстоит не останавливаться в укреплении, защите и пропаганде русского языка.

V. Неудачи, шероховатости, промахи?

Как и в каждом деле у Собора, у членов Собора, конечно — были. Иногда от желания, — как лучше. Но получалось по покойному Черномырдину: как всегда, не так. Вот после второго Собора у умной и настойчивой Натальи Нарочницкой и её некоторых коллег появилось сомнение, что Собор в надёжных руках. Она вместе с Олегом Кольченко и другими людьми решила зарегистрировать Собор на своё и их имя. На заседании бюро Собора митрополит Кирилл сурово спросил меня: «А Вы, Валерий Николаевич, об этом знали?» Я честно ответил, что не знал и не слышал. Бюро прекратило заседание. Через час митрополит сокрушённо сказал, что надо юридически зарегистрировать обновлённый Собор, продолжающий дело предыдущего. С тех пор зарегистрирован Всемирный Русский Народный Собор, А

его Главой официально стал Святейший Патриарх; и заместителями определили — митрополита Кирилла и от православных мирян председателя Союза писателей России писателя Ганичева. Я при открытии Собора вспомнил слова Н. Гоголя, что в России всякое вновь созданное дело может существовать только при благословении и поддержке церкви. Наталья впоследствии повинилась в неразумном действии и стала снова одним из ярких защитников дела России.

VI. Наши недостатки, проблемы.

Неделок, неделанных дел, неосуществлённых замыслов в Соборе, конечно, полно. Нам об этом не раз говорил теперь уже Патриарх Кирилл, новый Глава Собора. Мы затронули ряд проблем русского населения, всего народа. Но часто только затрагивали их, не решали, — да и решить их полностью нельзя. Но надо продолжать изучать ситуацию, выявлять болезненные моменты, заявлять о них, устранять их. И ещё, на мой взгляд, несмотря на все сложности, трудности и даже поражения, не надо терять, простите за пафос, историческую уверенность; нельзя предаваться унынию, тем более, панике. Как сказал великий флотоводец и святой Фёдор Ушаков, набирая флотские команды, «надо собирать по человечку», надо собирать силы, знания, умения для России, для общего дела. И, где только есть возможность, обращать их в действие.

Одной из главных задач из неделанных дел является создание наших отделений Собора в областях. Соборы были созданы в Смоленске, Волгограде, Белгороде, Архангельске, Екатеринбурге, Сыктывкаре и других городах. Но, к сожалению, во многих местах отделения не созданы, что необходимо продолжить.

Думаю, что новый виток жизни и работы Собор должен осуществить в ближайшее время. Ведь, фактически, общерусской организацией, занимающейся общерусскими заботами и делами (язык, школа, культура и т.д.), Собор занимается часто в одиночку. Если раньше Собор был — общегражданский форум, общегражданская трибуна, то приходит момент, когда он должен стать и общероссийской организацией Дел.

Очень важная предстоит работа по созданию областных и городских центров русской культуры, которые должны включиться в общероссийскую кампанию по упрочению, пропаганде и защите русского языка, в том числе и как языка государственного.

В Соборе думается о проведении одного из его заседаний, которое будет посвящено солидарности русских людей и всех соотечественников. Это нелёгкое и довольно длительное дело. Попытка соединить людей в земных условиях вне Веры, как показал XX век, бесполезна и даже порочна.

Думаю, что Собор должен немало подумать о верном единении и солидарности наших людей. Основа и, пожалуй, единственная, есть. На предыдущем XV Соборе были названы безальтернативные базисные ценности народа, были определены вызовы эпохи, с которыми должен бороться русский народ, другие народы нашей страны.

Святейший Патриарх сказал: «Известно, что никто в смертельную атаку за увеличение ВВП не пойдёт; никто в смертельную атаку не пойдёт, чтобы увеличить уровень потребления».

Поэтому великая цель и направление — это Россия.

Победа над собственными пороками — задача неизмеримо более сложная, чем экономические и технологические прорывы. В заявлении Собора было сказано: «Наступило время, когда на смену диссонансу векторов развития различных групп должно прийти единение общества, авторитет которого мог бы поддерживать само существование общества, страны, личности, сохранить русскую цивилизацию».

Иван Переверзин



НИЧЕГО, КРОМЕ СЧАСТЬЯ

Тополя – вдоль дороги,
неба, речки, судьбы;
и высоки, и строги
верстовые столбы.
Светло-розовый воздух...
Мчишь на лыжах с холма,
ну а кажется: к звёздам,
где надежда сама.

Ничего, кроме страсти, –
можно душу забыть!..
Ничего, кроме счастья
и желания жить.

Забыт, оболган, не привечен.
Но до чего же ночь ясна:
на небесах мерцают свечи,
лампадкой светится луна.

Переверзин Иван Иванович – поэт, член Союза писателей России, председатель Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов, первый заместитель председателя Президиума Международного Литературного фонда, председатель Президиума Литературного фонда России. Живёт и работает в Москве.

Осела муть, опала пена,
пыль улеглась, – дышать легко,
и звёздный свет шуршит, как сено,
течёт, как птичье молоко...

В пылу крутого разговора
была рука близка к ножу...
Но ни страданья, ни укора
теперь в себе не нахожу.

Мне в час такой любовь виднее.
И буду верить, что уже
не станет хуже и больнее
твоей душе – в моей душе.

Как ясно, как сильно, как полно
мне дышится – в горном бору,
где воздух звенит от озона,
особенно ближе к утру...

Где тишь воцарилась такая,
что слышно, как сердце стучит,
где в небе – поющего мая
с утра золотятся лучи...

Где дрозд с красноперой синицей
распелись в любовном хмелю;
где так я сумею влюбиться,
что, может, – и смерть полюблю!..

Нет, я – не исписался весь,
и мне – писать не надоело...
Но, словно речка, жизни песнь
от зноя сердца обмелела...

Хожу по лесу – сам не свой,
хотя скворец поёт на зависть...
Но если я в душе – живой,
то и любить навеки вправе...

Ничего, кроме счастья

И я – люблю, как никогда,
всё, что душой до слёз приемлю:
и ель, что встала у пруда,
и в соловьиных рощах землю.

И потому – пройдёт тоска
и, словно речка, моя песня,
как прежде, будет глубока
и – высока, как поднебесье...

Ну а пока – вернусь домой
да и усну – и пусть мне снится
мир, озарённый красотой,
что птицей у плеча гнездится...

Небеса красны – до звона,
речка горная – шустра.
Волны тёплые озона
вдвое чище, чем вчера...

Я вдыхаю их на счастье,
а быть может, на любовь.
Не о том ли в синей чаще
соловей распелся вновь?

Жизнь, любовь моя родная, –
набирайся сил скорей
и вернись на крыльях мая
в край берёз и снегорей.

Там идут снега косые,
стужа злей – день ото дня,
там в беде большой Россия,
без которой – нет меня...

Прошли тоски и грусти сроки
друг друга любящих сердец...
И вновь с загулом одиноком
смог завязать я – наконец...

Смотрю в твои глаза без боли,
и – открывается мне в них

такая жажда светлой воли,
такой простор для слов живых!

Я – всё забыл, ты – всё простила...
Нам остаётся лишь понять,
как дальше жить, чтоб злая сила
нас не могла б разъединять..

А надо нам совсем немного:
в любви избавившись от мук,
без страха верить, словно в Бога,
в тепло души и в нежность рук...

И если умирать, то вместе,
но лучше – бесконечно жить...
Но это надо, честь по чести, –
любовью вечной – заслужить.

А листья, звенящие листья,
омылись в осенних ветрах,
окрест расстелились по-лисьи –
в оранжево-жёлтых цветах.

Но даже в болотистой яме
судьба – не покинула их:
шуршат, как поют, под ногами,
и в сердце – живее живых.

Время катится глухо, тревожно,
словно поезд в бетонную клеть...
И надежда на жизнь невозможна,
но возможна надежда на смерть.

Я стою на пустынном перроне –
но не знаю, зачем я стою...
Неужели в последнем вагоне
жду последнюю радость свою?..

Снег кружится, следы замечает, –
беспросветна холодная высь...
Смерть – совсем моё сердце не знает,
потому и боится за жизнь.

Станислав Куняев



СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

У меня никогда не хватало терпения вести дневник, хотя такие попытки я предпринимал ещё в школьные годы.

Мне было больше по душе и естественнее, когда приходила какая-то мысль, или на меня производила сильное впечатление некая встреча или картина жизни, или когда я гневался или радовался по поводу чего-либо прочитанного или услышанного, записывать свою оценку происшедшего на клочке бумаги, на форзаце книжки, на бумажной салфетке, на полях газеты... Слава Богу, что у меня сохранились в особой папке целые вороха подобных записей, сделанных не в тишине рабочего кабинета под настольной лампой, а, как говорится, на коленке, которые я с трудом прочитал, переписал, отредактировал и теперь выдаю за страницы дневника, написанного приблизительно за последнее десятилетие.

Май 2001 г.

Как-то Вячеслав Клыков, крестьянский сын, позвал меня в Питер на съезд монархистов... Он был вождём этих ребят и организатором съезда.

Выступали они в каком-то небольшом зале, дружно все хвалили монархию и в ней одной видели спасение России. На дворе стоял 1994 или 1995 год... Неожиданно Слава пригласил на трибуну меня. Я вышел и спросил зал, какую монархию они хотят — конституционную, от которой в 1905 году начались все беды государства Российского, — или Самодержавную.

Все завопили: «Самодержавную!» Когда вопли утихли, я сказал: «Ну, тогда придётся восстановить и крепостное право, потому что без него самодержавие — обман и пустой звук...»

В зале повисла тягостная тишина, и Слава, спасая положение, объявил перерыв.

Дальше всё покатилося в спорах, криках, раздорах, которые продолжились в

Куняев Станислав Юрьевич – поэт, публицист, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Наш современник», председатель Президиума Международного литературного фонда. Живёт и работает в Москве.

поезде аж до самой Москвы... Все кляли меня, разрушившего единство рядов, а я в завершение переругался с Михаилом Назаровым.

Словом, идея монархии была похоронена. А сейчас я хочу добавить к тому, что произошло в Питере, следующие размышления. Расцвет России в конце XIX — начале XX века: рост населения, укрепление золотого рубля, подъём сельского хозяйства, строительство Великого Сибирского пути и прочие достижения прогресса свершились лишь потому, что в это время страна «проедала» наследство двух самодержавных столетий так же, как нынешняя демократия проедает уже 20 лет накопленное с конца 20-х годов советское сталинское наследие. Вы хотите самодержавия — а вам посадят на трон еврейчонка Георгия. Вы обижаетесь на меня за то, что я назвал Колчака «агентом влияния» западных сил — идите и смотрите на «жидовском», как Вы его называете, телевиденье киноэпопею «Адмирал» и подумайте о том, зачем «жидовскому» телевиденью впаривать в ваши мозги образы, мысли и сюжеты эффектной кинофальшивки.

Не лезьте в эти ловушки. Два раза в одну реку войти нельзя, ни в романовскую, ни в сталинскую. Нам надо напрячь все силы, чтобы спасти Россию и выстроить новую жизнь без романовского крепостного права и без сталинского НКВД. Задача невиданной сложности. Но, как сказал Юрий Кузнецов: «Зачем вам старые преданья, когда вы бездну перешли?»

А Колчак — сам по себе достоин уважения. Смелый офицер, принявший красивую романтическую смерть.

Но всё равно никуда не денешься от грубого гласа народного, когда о нём, окружённом английскими, французскими, чешскими советниками, народ сочинил частушку: «Мундир французский, погон японский, сапог английский, правитель омский»...

Октябрь 2004 г.

В Иркутске ругался со своими друзьями-патриотами «колчаковско-власовского» разлива, обливающих «патриотическими» помоями эпоху социализма и нашу Великую Отечественную, нашу Победу. Ну как они не понимают, что Германия 1914 года была во много раз слабее Германии года 1941-го. У кайзера в союзниках была одна Австро-Венгрия, а у Гитлера десятки государств фашистской и полуфашистской Европы. Германия 1914 года с первого дня войны имела мощнейший второй англо-французский фронт в отличие от гитлеровского Рейха, который со «вторым фронтом» столкнулся лишь в 1944 году.

Россия же 1914 года с точки зрения нынешних «национал-демократов» была мощнейшей державой, заваливавшей хлебом и маслом чуть ли не всю Европу, страной, где прошли благотворные столыпинские реформы в то время, как социалистическая коллективизация подорвала могучее российское крестьянство; прирост населения к 1914 году был колоссальный, казачество было в расцвете сил, никакого ГУЛАГа, никаких репрессий не было, валюта была самая твёрдая в мире; 1914 год — начало войны — воодушевление общества: «Кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали!» — в отличие от угрюмо-молчаливого состояния советских людей в июне 1941-го...

Однако в Первой мировой с первых дней мы выглядели не лучше, чем в июне 1941-го: сдали Польшу, сдали Прибалтику, три года войны то отступали, то топтались на месте при единственной попытке перехватить инициативу. Угробили армию Самсонова в прусских болотах, падали духом, не имея никаких твёрдых шансов на победу, в тылу постепенно начиналось моральное разложение... Ну, был единственный локальный — брусиловский прорыв — и всё, а когда пришло к власти масонское Временное правительство, то разложение в армии достигло апогея.

Страницы дневника

Словом, начиная войну в благоприятнейших по сравнению с 1941 годом условиях, Россия через четыре года представляла из себя совершенно разложившийся организм — и государственный, и военный, и экономический, и культурный, и религиозный...

А в 1941 — 45-м гг. мы по всем направлениям становились крепче, увереннее, могущественнее — и всё закончилось величественным реваншем социалистической державы за поражения державы монархической, длившиеся с 1905-го по 1918 год... Мы вернули всё: Прибалтику, Сахалин, Курилы, Молдавию. Вернули, несмотря на ГУЛАГ, коллективизацию, репрессии в армии и т. д. Почему? Потому что преодолели отставание на 150 лет от «передовых стран Европы» за 10 — 15 лет, потому что сцементировали общество советским патриотизмом, потому что вырастили новое поколение новых людей...

*Я строил окопы и доты,
Железо и камень тесал
И сам я от этой работы
Железным и каменным стал, —*

писал выдающийся поэт мобилизационной эпохи Ярослав Смеляков.

*Где нашёл он таких генералов
И таких легендарных бойцов? —*

писал о Сталине выдающийся поэт белой эмиграции Александр Вертинский.

Наше отступление летом 1941 года закончилось великим парадом 24 июня 1945 года, когда знамёна вермахта летели к подножию Мавзолея... Конец — делу венец... А наши колчаковско-власовские патриоты все талдычат о великой России 1914 года и проклинают Советскую эпоху... Да протрите же вы глаза, в конце концов!

Август 2005 г.

Рыбачил на Ахтубе. Моим егерем был местный человек по имени Миша. Мы блуждали на моторной лодке по протокам, заросшим камышом, в поисках судака и щуки, а во время передышек и перекуров он рассказывал мне, как его посёлок жил раньше и как живёт сейчас.

— Были в нашем посёлке при Советской власти два детсада, завод по ремонту техники, два клуба — зимний и летний. Круглый год шло разное строительство. Была работа и зарплата — и для мужчин, и для женщин. Была техника — трактора, автопарк, помидорные и арбузные плантации. А теперь всё исчезло. Живём только рыбой.

У Миши грустная улыбка. Когда он улыбается, видны его гнилые зубы. Он понимает, что я их вижу.

— Зубы не могу вставить. Потрачусь на зубы — есть будет нечего. Зарабатываю только на хлеб и макароны. А чтобы купить чего дочке — ей четырнадцать лет — и думать нечего. Раньше, когда женщина рожать собиралась, врачи с неё глаз не спускали. А теперь — рожай хоть на улице. Мы, оказывается, жили при коммунизме, да не знали этого.

— А как ты советскую власть вспоминаешь?

— Только добром!

— А вернуть её хочешь?

— Это было бы счастье, да только уже ничего не получится.

Мише лет тридцать пять. Он худой, жилистый, в чёрных очках, с гнилыми зубами

и печальными шутками. Всё, что он рассказывал, я видел в деревне Кулой в центре северной Архангельской области. Там стоят около ста громадных домов. Половина из них с проваленными крышами, из некоторых домов тянутся вверх тощие берёзки. В этой деревне за пятнадцать лет рыночной демократии исчезли почта, детсад, клуб, медицинский пункт, магазин... А в середине 80-х здесь ещё был совхоз, в котором насчитывалось около трёхсот голов крупного рогатого скота. Совхоз кормил мясом весь Пинежский район. А теперь пастбища заросли бурьяном, крыша кирпичного коровника провалилась, а здание срубленного из местной корабельной сосны клуба купили за бесценок какие-то южные люди, раскатали по брёвнышку и увезли неведомо куда...

Ноябрь 2005 г.

Написал гневное письмо своему тёзке, с которым то воюю, то мирюсь все жизнь — Станиславу Лесневскому. Вот он, текст этого письма.

«Здравствуй, Станислав!

Возвращаю тебе твою книжечку «Польская муза и русские поэты», которую ты составил, издал и прислал мне в подарок. Без стихотворений Пушкина «Клеветникам России», без его «Бородинской годовщины», без великого тютчевского «Как дочь родную на закланье...», без блоковского «Здесь всё что было, всё что есть, надуту мстительной химерой...», без мандельштамовского «Поляки! Я не вижу смысла...» твоя книжечка выглядит не просто конъюнктурной, но в культурном смысле недобросовестной, а если говорить прямее — то лживой и лакейской по отношению к шляхте.

А ещё можно вспомнить пушкинское: «Ты просвещением свой разум осветил...». Твоя антология не только «прошляхетская», но антипушкинская, и ты ещё говоришь, что любишь Кожина, к вдове в гости заходишь, на днях его рожденья бываешь. Да он бы (если бы познакомился с твоим изданием «русско-польской антологии») при всей своей толерантности руки бы тебе не подал. Плохой ты филолог, недобросовестный, нечестный, совершающий подлоги. Не знаю только, во имя чего. Не во имя ли «страха иудейска»? Не надо мне, чтобы ты в своём издательстве издал мою книгу. Ты ведь её изуродуешь. Отвергаю твоё предложение об издании каких-то буклетов к моему юбилею. Глупо так позорить себя на закате жизни.

Станислав Куняев».

Ноябрь 2005 г.

На НТВ спорят друг с другом Алексей Шохин и Сергей Глазьев. Шохин утверждает, что результаты приватизации не могут быть пересмотрены, поскольку она была проведена по законам того времени.

Глазьев возражает, но как-то неубедительно, говорит о деталях, частностях, о двусмысленности законов. А надо бы сказать так: приватизация была проведена мошенниками по мошенническим законам, ими же принятым. И вообще ссылки на законы прошлого времени — дело опасное. Законы быстро ветшают, обнажая заключённую в них несправедливость, корыстную сущность и алчность узкой касты заинтересованных в них людей.

Преследование евреев в гитлеровской Германии опиралось на «нюрнбергские законы». Ну и что? Человечество победило гитлеровский расизм, и никто теперь даже заикнуться не может, что, мол, всё, что творилось в Германии 30-х годов, «опиралось на законы», а значит, должно оставаться в силе.

По средневековым законам ведь на кострах сжигали. Так что законы, по кото-

Страницы дневника

рым проходила приватизация, есть пыль историческая. Это не скрижали Моисея и не новозаветные заповеди, не суры Корана и даже не кодекс Наполеона. Ссылки идеологов перестройки на то, что приватизация, разгосударствление, залоговые аукционы и прочие способы грабежа были совершены по законам 90-х годов и потому не подлежат пересмотру — смешны. В таком случае можно утверждать, что все репрессии сталинской эпохи, все знаменитые процессы 1937 года проходили в соответствии с законами того времени, согласно решениям судов, в присутствии адвокатов, журналистов и даже публики. Однако приговоры этих законных органов власти были аннулированы и объявлены незаконными — одни через 20 лет в эпоху «оттепели», другие через полвека, в эпоху перестройки, репрессированные граждане были реабилитированы, а это подтверждало тот факт, что человеческие законы не вечны. Поэтому ничего удивительного не будет, если то же самое произойдёт с приватизаторами и их якобы законно приобретённой собственностью. Примем новые законы и национализируем всё «законно награбленное».

23.4.2006 г.

Чиновник от дипломатии некто Шилов-Коведяев и Шендерович беседуют о том, что Ельцин велик, потому что не допустил в России югославского варианта, а следовательно, кровопролитной гражданской войны.

Вздор! Югославия была насильно сколочена из враждующих племён и народов частично после Первой мировой войны, а окончательно после разгрома тысячелетнего Рейха и освобождения Восточной Европы советскими войсками.

В одно противоестественное государственное образование были объединены вечно враждующие между собой на Балканах хорваты и сербы, македонцы и албанцы, мусульмане и христиане, православные и католики.

Этому неорганическому сообществу исполнилось всего лишь 45 лет, когда в начале 90-х годов прошлого века оно начало разваливаться.

А нашему государству, созданному из многих народов, объединившихся волей истории в одно целое, было в разных его частях, когда по несколько столетий, когда как минимум по 200 — 250 лет... За эти столетия мы сроднились, срослись в одно целое, что и подтвердил референдум о судьбе СССР 1991 года. Такой монолитности, которая выдержала величайшую в истории человечества войну, не было в Югославии. Потому-то у нас не могло быть «югославского варианта» с сербско-хорватской резнёй во время войны 1941 — 1945 гг. с вырезанными глазами и отрубленными головами... Врут и не краснеют.

Круглый стол у Познера. Идёт разговор об истории. Виктор Ерофеев о Советском Союзе:

«Освобождение от империи — это радость. Распад Союза — это радость, а не трагедия. Все соседи радуются этому освобождению».

Абхазия, во всех школах и музеях которой висят фотографии молодых людей в чёрных рамках, павших в борьбе с грузинскими колонизаторами, «радуется», Южная Осетия, пережившая два кровопролитных нападения, — тоже радуется. Особенно искренне и благодарно радуются изгнанные из Карабаха армянскими боевиками азербайджанцы и растерзанные в отместку за это, изгнанные сумгаитские армяне. Радуются в Грузии гальские грузины, изгнанные за погромы, которые творили грузинские бандформирования в 1991 — 1992 годах, радуются похороненные в братских могилах жители Приднестровья, погибшие во время бесчинств молдавских националистов в Бендерах, радуются киргизские, таджикские, узбекские рабы,

стоящие толпами у выезда из Москвы на Ярославском шоссе, готовые за копеечную плату на любую чёрную работу. Радуются распаду Советского Союза сотни тысяч русских людей, изгнанных из Чечни, радуются десятки тысяч чеченцев, погибших в братоубийственной войне, организованной Ельциным и Гайдаром, Березовским и Черномырдиным. Радуются Ерофеев и Сванидзе, Швыдкой и Познер, получившие в своё распоряжение телеканалы, телестудии, телепрограммы, словом — всю четвёртую власть над «радующимся» народом.

Этот разговор, который шёл под рубрикой «History», был продолжен неким телеведущим, якобы потомком Льва Толстого, носящим знаменитую фамилию своего предка. Потомок заявил: «Семьдесят лет нас учили, что история старой России это — мрак, преступления, чёрная дыра». Ну и дрянь невежественная! Надо бы ему, потомку великого не только писателя, но и историка, знать, что уже в 1936 году опера «Богатыри» были снята с репертуара Большого театра за искажение русской истории и за глумление над нею, и что любимец партии автор либретто Демьян Бедный был за клевету на отечественную историю исключён из партии, а также изгнан из кремлёвской квартиры.

Надо бы недостойному потомку Толстого знать, что в предвоенные годы вышли знаменитые кинофильмы о Суворове, Нахимове, Кутузове, Александре Невском, Минине и Пожарском. А речь Сталина 7 ноября 1941 года с призывом вспомнить великие имена русских полководцев? А роман Алексея Толстого «Пётр I», или книга Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», или роман А. Степанова «Порт-Артур» (все они были удостоены Сталинской премии) — это что, «чёрные дыры»? А труды об отечественной истории Б. Рыбакова, Д. Лихачёва, В. Кожинова, Л. Гумилёва, Ф. Нестерова и многих других историков — это что, книги, полные «мрака»? Я уж не говорю о всенародном пушкинском празднике 1937 года, о романе «Тихий Дон», написанном в «советское 70-летие» и тем не менее удостоенном Нобелевской премии. Да бедный Лев Николаевич в гробу, наверное, перевернулся, узнав о том, как выродилась его фамилия в лице невежественного и наглого телевизионного комментатора!

Ночью по программе «History» показывали фильм о войне 1941 — 1945 годов, и комментатор произнёс: «Это была битва тиранов!» Ах ты, лжец! Это была Отечественная война за право нашему народу жить на своей земле. В фильме столетний карикатурист советской эпохи Борис Ефимов (Фридлянд) мелет одну глупость за другой: «*Сталин был помешан на мелочах и даже исправлял тексты под карикатурами*»; «*28 января 1953 года с ним случился приступ, и он умер*»; «*Сталинский лагерь на Соловках прекратил своё существование только после распада коммунизма*».

Английский фильм, английский комментатор, английское высокомерие и английские глупости.

Но показывают-то нам!

4.12.2006 г.

«Собрались книжники и фарисеи»... Против Иисуса Христа был заговор иудейской знати. Не народ, не феллахи и рыбаки, не крестьяне предали его, не простонародье, которое называло его «равви» — то есть учитель. Его предала иерусалимская «болотная площадь», во главе которой стояла знать. «Лучше пускай погибнет один человек, нежели весь народ!» — кричала она в лицо Пилату. И была права, потому что смена иудейской расистской веры на общечеловеческую христианскую, конечно же, была преобразованием народа, изменением его коллективной души столь глубоким, что фарисеи проницательно сравнивали эту перемену со смертью и не хотели никакого преобразования и воскрешения народа в новом образе, на «новой земле» и под «новым небом».

Страницы дневника

От российского помазанника Божьего в первую очередь отреклась элита: семья Романовых, генералитет, интеллигенция, клир, который тут же перестал молиться за него. «Измена. Трусость. Обман» — это ведь сказано Николаем Вторым о ближайшем окружении. Не о простонародье. Простонародье в 1905 году шло к Зимнему дворцу с иконами.

Быть коммунистом для будущего еврейского диссидента Семёна Липкина во время войны означало быть в состоянии, близком к религиозной общине. О ренегатах он писал как о вероотступниках, в панике отказывающихся при приближении гитлеровцев от истинной веры:

Когда фарисеи и книжники билеты партийные жгли...

Изменников коммунизму верующий в коммунизм поэт Семён Липкин назвал «фарисеями и книжниками», а коммунисты настоящие в этой системе образов для него являлись как бы приверженцами Христа.

Однако никакие подобные аргументы не помешали Липкину через несколько десятилетий отказаться от коммунистической веры, а его одноплеменнику Марку Захарову сжечь партийный билет перед телезрителями. Семён Липкин, сам ставший ренегатом, потерял право прочесть Марку Захарову своё стихотворенье о фарисеях и книжниках, сжигавших страха ради иудейска свои партийные билеты летом 1941 года, чтобы тевтонско-римские пилаты не послали их на Голгофу, то есть в какой-нибудь Освенцим.

Июль 2007 г.

Начался 2007 год, и антироссийские СМИ надрываются по поводу масштабов «сталинских репрессий» 1937 года.

По радиостанции «Свобода» 27.7.2007 г. директор Соловецкого музея некто Бродский сообщил, что через Соловки прошло около одного миллиона заключённых, и добавил: «Генофонд страны». Сразу же после этой передачи корреспондент «Свободы» обратился к жителям Самары на улице с вопросом: «А сколько всего было репрессировано при советской власти народу?» Он не уточнял, кого имеет в виду — уголовников или политических. Такое уточнение было ему невыгодно. Самарские обыватели, естественно, не скупилась на цифры. «Может быть, миллионов пять», — сказала одна дама. «Если считать с войной (?!), то миллионов пятьдесят», — уточнила другая. «Миллионов тридцать, не меньше», — сообщила третья. «От двадцати до сорока миллионов», — подытожила четвёртая. Когда женский потенциал был использован, корреспондент разыскал одного мужчину, который мрачным голосом как отрезал: «Процентов 80 населения было репрессировано, из которых расстреляно несколько миллионов»...

Такой опрос на улицах, на ходу, на бегу людей, наслушавшихся той же самой «Свободы», есть кошунственный способ распространения самых чудовищных слухов, самый злостный способ распространения клеветы и дезинформации. О такого рода приёмах Вадим Кожинов писал:

«Если верить некоторым книгам о 37-м годе, то к 22 июня 1941 года все взрослые мужчины в СССР были расстреляны или находились в лагерях... Все и немного больше».

В июне 2007 года ТВ устроило встречу съёмочной группы, которая снимала фильм «Завещание Ленина».

На встречу был приглашён профессиональный диссидент Григорий Померанц,

громкогласно заявивший, что при Сталине в лагерях сидело 19 миллионов человек, а 7 миллионов политических было расстреляно. Но все честные историки, изучавшие сталинскую эпоху — от нашего В. Кожина до американского исследователя В. Максудова после того, как были обнародованы документы, касающиеся деятельности ЧК-ОГПУ-НКВД и организации ГУЛАГа, сходятся во мнении, что с 1921-го по 1956 год было арестовано и сослано в лагеря по политическим мотивам не более 2,5 миллионов граждан, и что за этот период было вынесено около 700 тысяч смертных приговоров, но и они не все были приведены в исполнение.

Можно лгать, но не так чудовищно, преувеличивая число заключённых в семь раз, а число расстрелянных в десять!

Сколько же можно злословить относительно того, что СССР, Сталин, советский строй были разгромлены в первые месяцы войны! При этом все эти якобы историки в упор не видят того, что Франция — мощнейшая европейская держава — была смята вдрызг за 4 недели, Польша — тоже по европейским меркам сильное государство — за одну неделю; что американская разведка проморгала чудовищный погром своего флота в Перл-Харборе.

А если вспомним конец 1944 года? Высадка союзников через Ла-Манш в Арденнах. Трёхмиллионное войско — и поражение не менее сокрушительное, нежели у нас в первые месяцы войны. На вопль Черчилля о помощи, о контрнаступлении советских войск на Востоке Сталин отреагировал сразу, как умный и надёжный союзник, и приказал начать внеплановые наступления в Пруссии.

Наши сванидзы ужасаются потерям советских войск, проклинают Жукова, якобы «не жалевшего солдат», а с октября 1944-го по май 1945-го англо-американцы потеряли полмиллиона человек! И это при истощённой и уже полуразгромленной Германии!

Ноябрь 2007 г.

Разговор с Николаем Ивановичем Рыжковым.

«Ваша книга, — сказал Рыжков, имея в виду мои воспоминания «Поэзия. Судьба. Россия», — подтолкнула меня на воспоминания. Впрочем, потихоньку я их уже записывал... Получилась у меня история разрушения великой державы — Алма-Ата, Фергана, Баку, Карабах — словом, национальные отношения. Глава о Баку получилась раньше других. Но пока был жив Алиев, я её не публиковал. Он не раз приглашал меня к себе. Я обещал, но знал, что не поеду. Обязательно повели бы к аллее павших героев, а это те, кто стрелял нам в спину в январе 1991 года.

А ещё, Станислав, что я хочу Вам рассказать. Я был свидетелем одного разговора, Вас касающегося.

Провожали мы Горбачёва — из Внуково-2 он улетал. Ну, как положено, члены Политбюро, кандидаты, и я среди них. Я подошёл к Горбачёву, когда он разговаривал с секретарём ЦК по идеологии Медведевым. Медведев ему говорит, что стоит вопрос о главном редакторе журнала «Наш современник», и Вашу фамилию называет. На слуху она была. Медведев спрашивает Горбачёва — что делать? Опасная кандидатура, националистического склада человек, антисемит, как бы не повёл журнал, куда не надо... Горбачёв, верный себе, от прямого решения отказался и произнёс: «Думайте сами, раз есть вопросы».

Я был далёк в то время от этой сферы и не вмешивался в неё. Это была монополия Яковлева».

На этом разговор с Рыжковым закончился, о дальнейшем развитии событий «архитектор перестройки» А. Н. Яковлев так пишет в своей книге «Омут памяти»:

Страницы дневника

«Через некоторое время Викулову всё-таки пришлось уйти из редакции. Но, к сожалению, нормального, уравновешенного, авторитетного человека туда назначить не удалось. Бондарев специально посетил Горбачёва и настоял на назначении редактором «Нашего современника» Станислава Куняева, человека нетерпимого, превратившего журнал в один из антиперестроечных рупоров» («Омут памяти». М., Вагриус, 2000, стр. 264).

По одной из версий, разговор Яковлева с Горбачёвым о моём назначении происходил так. Яковлев был категорически против моей кандидатуры, но Горбачёв якобы нашёл следующие аргументы:

— Саша! Я выполнил твою просьбу о назначении Коротича главным редактором «Огонька» и Бакланова главным редактором «Знамени». Ну, давай русским бросим эту кость — «Наш современник».

3.11. 2007 г.

Поистине кино «важнейшее из искусств», как сказал Ленин. Кино может оболванить половину народа — вспомним «Санта-Барбару», может воодушевить на подвиги в роковые времена — вспомним «Чапаева», может подвигнуть миллионы зрителей к сопереживанию народной или личной высокой трагедии — вспомним «Тихий Дон» или «Калину красную».

Кинокартина о Сергее Есенине — одновременно и возмутительная, и лживая, и в то же время по-своему трогательная. Современный обаятельный желтоволосый плейбой — пьёт, гуляет, крутит романы, льёт слёзы, хулиганит. Но нигде или почти нигде мы не понимаем, почему он стал великим поэтом и почему самые пронизательные современники считали его, как и Пушкина, «умнейшим мужем в России». В сущности, младший Безруков в «Есенине» как бы играет продолжение роли, освоенной им в «Бригаде» — обаятельного авантюриста, почти негодяя.

Конечно, кино — грубое искусство, порой до идиотизма упрощающее и жизнь, и судьбу, в отличие от высокой литературы.

И всё же, всё же... отдельные искорки правды, иногда мелькающие на телеэкране, хочешь — не хочешь, а заставляют нас задуматься о высокой и печальной трагедии есенинской жизни. И мы погружаемся в чувства и размышления о нём. В свои чувства и размышления. Не безруковские. Может быть, иные зрители, поглядев фильм, возьмут в руки нашу с сыном «жэзээловскую» книгу и прочитают настоящую судьбу Есенина. И на том спасибо. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

28.12.2007 г.

Какой-то антифашист, выступающий на радиостанции «Свобода», возмутился, что на скинхедовском сайте был выложен текст:

***Я лётчик люфтваффе,
я в небе лечу,
я красные звёзды
в прицеле ищу.***

А чего возмущаться? Советские красные звёзды, где бы они ни были, — на кремлёвских башнях, на воинских знамёнах, на надгробьях наших солдат, разбросанных по всей Восточной Европе, — вот уже два десятилетия обливаются демократическими помоями во всех средствах массовой информации, оскверняются ядовитой слюной, изрыгаемой из уст Новодворской и Сергея Ковалёва, Сванидзе и Пивоварова... Всех не перечислишь, как говорится, «имя им — легион».

Вот и научили наши демократы несчастных скинхедов науке ненависти и глумления. За что боролись, на то и напоролись.

10.5.2008 г.

— Станислав Юрьевич! Это Вам звонит Валентина Николаевна из Кусы. Не обижайтесь на меня, Вы человек очень занятой, я Вас от дел отрываю...

— Ну что Вы, Валентина Николаевна! Я всегда рад слышать Вас. Как Вы там живёте на Южном Урале?

— Да трудно, Станислав Юрьевич. Безработица... Был один заводик, где водку делали, да и тот закрылся... Народ с потухшими глазами ходит. Разве такие будут Ваш журнал читать? Им ни до чего дела нет. А за журнал всё равно спасибо. Он, несмотря ни на что, светит, души излечивает, которые ещё не до конца отчаялись...

Валентина Николаевна всю жизнь проработала в маленьком городке Куса библиотекарем. Несколько лет тому назад впервые позвонила мне по телефону и рассказала, что по здоровью, да и по годам вышла на пенсию, но библиотеку не бросает, проводит там всяческие литературные конкурсы, викторины, недавно испытывала своих читателей, кто из них знает героев повестей Валентина Распутина, и рада тому, что многие старшеклассники показали хорошие знания распутинской прозы, а потому она меня просит, чтобы я прислал в Кусу несколько книжек Валентина Григорьевича с его автографами. Она будет этими книжками победителей награждать.

Когда мы несколько лет тому назад начинали наши телефонные беседы, я спросил её, какую пенсию она получает, и ахнул: так Вы же полпенсии со мной проговорили! Но она не умеет говорить кратко, по-деловому, ей нужно по душам поговорить.

— Я рада, что Вы в Иркутске у Распутина побывали. Он у меня со своей дочкой Машей сфотографированный на стене висит. А рядом с ним Достоевский, Шукшин, Юрий Власов, Коля Бурляев. Тут же мои мама, папа, братья... целая семья... Нас много! Спасибо за журнал. Только вот и у Вас иногда печатается такое, что я не могу уговаривать своих знакомых, чтобы они подписывались на «Наш современник». Вот у Личутина в очерке была частушка с матерным словом. Не надо этого, Станислав Юрьевич...

Голос у неё тихий, застенчивый, ей не хочется меня ни в чём упрекать, но совесть промолчать не даёт... У неё есть в маленькой Кусе свои питомцы.

— У нас, Станислав Юрьевич, существует литературное объединение «Кусинские зори». На днях юбилей будем отмечать. Очень прошу Вас — пришлите телеграмму. Поздравьте нас, а я Ваше поздравление зачитаю. Вы не представляете, как такие слова нам нужны. Ведь столько людей вокруг ходят с потухшими глазами... Храни Вас Бог!

Вот она, русская душа, живущая в библиотечной работнице, полунищей пенсионерке. Она ведь не меньше значит для России, чем солженицынская Матрёна. Но она — дитя советской эпохи, чего Александр Исаевич понять бы не мог: как это в советской оболочке живёт такая трогательная и чистая русская душа...

Писатель Кабаков в ночь с 24 на 25 октября 2008 года, выступая на «Свободе», заявил: *«Правильно сделал Ельцин, что расстрелял коммунак 4 — 5 октября, правильно сделали его соратники, что подтасовали выборы в 1996 году, представляете, какой кошмар был бы, если бы пришёл Зюганов. Воля народа — пустые слова, над народом необходимо всегда совершать насилие»...*

Опасность миновала, притворяться демократом — надоело и уже не нужно. Можно сбросить маску. Сбросил. И появилась морда — звериная, зубастая, оскаленная... Как у Новодворской.

Страницы дневника

11.12.2008 г.

СМИ сходят с ума от юбилея Макаревича. По всем каналам звучит его знаменитый слоган: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас». Неграмотно, но зато жизнеутверждающе и греет душу нынешним хозяевам жизни.

Макаревичу — 55... Музыкальный критик Барабанов заходится в восторженных комплиментах:

— Он изменил наш мир!

Барабанову вторит Розенбаум: «Наш Макар несгибаем!» На экране возникает фото: Путин рядом с Макаревичем. Словом, торжество. Но вот уже полгода, как на земле бушует не просто финансовый кризис, но кризис всей жизни. Наш тинейджер-президент выступал летом на сборище крупнейших бизнесменов в Красноярске и, отвечая на вопрос одного из генералов бизнеса, а не будет ли возврата к плановой экономике, самодовольно заявил: — *Ну, это мы уже проходили в течение 70 лет!* — Ну хотя бы подумал, что плановая экономика продержалась 70 лет и выдержала такие испытания, которые и не снились рыночной, обвалившейся всего лишь через 15 лет после своего воцарения... И все «прогноулись» перед этим обвалом: и Медведев, и Путин, и Барабанов с Розенбаумом, и юбиляр Макаревич, переставший рекламировать по ТВ какой-то свой кулинарный бизнес... Прогноулись...

Декабрь 2008 г.

Когда мы смотрим рекламу парфюмерных соблазнов, чистящих средств, пищевых добавок, фальшивых лекарств, дамских прокладок, то уподобляемся туземцам эпохи Великих географических открытий, которых европейцы соблазняли цветными тряпками, стеклянными бусами и спиртными напитками, но то были хоть в какой-то степени материальные ценности, а с нынешнего экрана на нас глядят призраки и символы комфортной смерти человечества.

17 сентября 2009 г. по радио «Свобода» прошла передача, посвящённая «разделу Польши» между Германией и СССР. Участники передачи соревновались друг с другом в глумлении над нашей историей и нашей победой.

Владимир Рыжков: «С этой победы пятен не стереть», «Чересчур болезненно мы относимся к распаду СССР»; «Идёт реабилитация сталинского режима».

Историк Борис Соколов: «СССР захватил половину восточной Европы».

Какая-то Мари, якобы «профессор из Парижа», косноязычно говорящая по-русски: «СССР и Германия, разделившие Польшу, были государственными близнецами». А она-то что понимает? Лучше бы объяснила, почему Франция проиграла войну всего-навсего за 40 дней? Не потому ли, что Эдит Пиаф вместе с Ивом Монтаном пели в ресторанах для эсэсовской офицерни? Лучше бы вспомнила, почему несколько десятков тысяч французских «псов войны» из дивизии «Карл Великий» встали под знамёна со свастикой и пошли бок о бок с гитлеровской солдатнёй топтать нашу землю...

3.10.2009 г.

По ТВ выступал патриарх Кирилл. Произнёс вдохновенную, блистательную, прямо-таки актёрскую речь о возрождении веры, о богоотступничестве народа, о его преодолении, об искуплении грехов народных.

Но богоотступничество было преодолено во время Великой Отечественной войны. Я помню, как калужские церкви были полны народу, более полны, нежели сегодня, а с осени 1943 года началось после возрождения патриашества и приёма Сталиным высших иерархов церкви то, что называется «симфонией церкви и государства». Да и богоотступничество народа возникло не в 1917 году, а гораздо раньше, о чём писал митрополит Вениамин Федченков, который увидел упадок веры в 1912 году, когда страна праздновала 300-летие Дома Романовых.

И что толку сегодня клясть «богоотступничество» советской эпохи, лягать мёртвого льва. Дело это пустое и неблагодарное, и несправедливое.

Богоотступнические соблазны сегодняшнего времени куда более глубоки и страшны, нежели советские соблазны.

Тогда разворачивалась борьба двух религиозных систем — христианской новозаветной и новоязыческой, той, что была выражена в словах Горького: «Человек — это звучит гордо!» В яростной схватке сошлись две религиозные аскезы. Но в нынешней религии «прав человека» тёмной, порочной и растленной гордыни куда больше. Да и для Христа главным врагом была не «советская» гордыня Рима, а тёмная власть золотого тельца, власть не римского булата над чадами человеческими, но иудейская материалистическая власть тридцати серебрянников.

Советская гордыня богоотступничества была гордынею труда, подвигов, самопожертвования:

*По полюсу гордо шагает,
меняет течение рек,
высокие горы сдвигает
советский простой человек.*

Царство Христа было не от мира сего, но, понимая это, сын галилейского плотника поставил пределы неотмирности: «Кесарю кесарево»... А Сталин был кесарем.

Нынешняя гордыня своеволия, греха и растления куда страшнее, нежели гордыня эпохи кесарей. Её победить почти невозможно. Куда легче молитвами и театральными проклятиями разгонять призраки коммунистического прошлого. Но свято место пусто не бывает: изгонишь из него власть кесаря — и тотчас же в алтарь ворвётся власть золотого тельца и культ всех смертных грехов.

Лучше меня об этой трагедии написал в стихах мой старший друг из Новосибирска, поэт и мыслитель Юрий Ключников:

*Вы родине нашей вменили в вину
публично с амвона – ни мало, ни много, –
что страшную мы заслужили войну
за власть коммунистов, отвергнувших Бога.*

*Ну что ж, и церковный, быть может, погром
в 17-м тоже был горьким лекарством
за не сохранённый синодом Покров
святой Богородицы над государством.*

*Но я-то в стихах не виню никого
за нынешние, за бывшие невзгоды,
нам вместе бы с Вами вернуть торжество
священной войны Сорок пятого года.*

Страницы дневника

*В ту пору связать нас сумела беда,
сегодня же беды разводят в тумане.
Вы ждёте повинных? Примите тогда
за всех коммунистов моё покаянье.*

*Простите, что манны не ждали с небес,
что, Бога не помня, творили молитву,
что строили вместо церквей ДнепрогЭС,
колхозы, метро, Комсомольск и Магнитку.*

*Что был, не мерецился классовый враг,
что с ним воевали, не прячась по затишкам,
что гибли за цвета кровавого флага
и верили батьке с усами, не батюшкам.*

*Но если вернётся на родину свет,
и знамя победное вновь будет поднято, —
я верю — допишется в новый Завет
апостольский грех большевистского подвига.*

Аминь...

Октябрь 2009 г.

Иркутск. Город, ставший для меня родным, куда я приехал осенью 1957 года по распределению после Московского университета, куда приезжал потом бесчисленное количество раз к Вячеславу Шугаеву, с которым мы улетали на охоту в северный посёлок Ербогачён. Кинотеатр на улице Карла Маркса, где в 1989 — 90 годах мы выступали с Игорем Шафаревичем. Залы кинотеатра были переполнены. Сейчас кинотеатр рекламирует фильм «Зомбиленд» с эпиграфом «живой мёртвому не товарищ». Американские джеймс-бонды с автоматами и громоздкими подбородками шествуют по плакату, начинающемуся от тротуара и уходящему в небо. Напротив ресторан пива, куда некогда мы, получив гонорар в «Востсибправде», забегали с Шугаевым и Петром Реутским. На ресторане реклама: выступает по вечерам негр Денис Роулэнд — чёрное лицо с оскалом белых зубов, морда, как у леопарда — пучок морщин, бегущий от усов к узким кошачьим глазам. Вот чем закончилась русская демократическая революция, к которой призывал Шафаревич в переполненном зале кинотеатра двадцать лет тому назад.

Пугачёва в есенинской драме сдают в руки Михельсона его ближайšie сподвижники-«енералы». Есенин, видимо, списывал эту измену со своей судьбы, потому что чувствовал, как русская революция, едва начавшись, уже сдаёт его еврейскому Чека...

На улице Карла Маркса по обе стороны от кинотеатра сплошные ювелирные магазины. В одном из них стоят охранник и манекен.

Не сразу я понял, кто есть кто. Манекен показался мне живым охранником, а живой неподвижный охранник — манекеном.

А ведь в 60-е годы встретишь на улице живого Алика Стукова — гитариста, барда, любимца иркутской богемы — и целый день на душе праздник...

Заходил сегодня в крупнейший Архангельский книжный магазин. Смотрю на

полках: Татьяна Толстая — семь изданий, Виктор Ерофеев, Сорокин, Довлатов, Пелевин — по шесть изданий. Книги Корецкого, Петрушевской, Вишневецкой — по 3-4 издания.

О Марининой или Дашковой говорить не буду. Они недостижимы ни для кого, поскольку это не литература, а нечто другое, вроде одноразовой посуды.

Вот что значит идеологическая монополия рынка. Книги не расходятся, лежат, занимая целые стеллажи, но всё равно издаются и ложатся многотонными массами на прилавки. Не покупаются, несмотря на то, что имена сверхраскрученные. У них всё есть для раскрутки — свои программы на телевиденье, свои часы на радио, свои премии, свои спонсоры, свои литературные агенты. А книги лежат в магазинах тяжким грузом. Полного счастья не бывает. Перепроизводство продуктов и товаров, как во время Великой депрессии. Тогда излишнюю непродавшуюся пшеницу и кукурузу американские фермеры сжигали на своих плодородных полях. Но ведь книги горят лучше.

21.11.2009 г.

ТВ и «настоящее радио» разрываются от горя: умер какой-то шоумен по имени Роман Трахтенберг. «Человек-легенда», «человек-праздник» последний год жизни работал на радио «Маяк», но до этого был — и тут сообщаются все подробности героической жизни: где родился, где учился, где не доучился, какие диссертации писал. Какие шоу-программы сочинял, непревзойдённая его заслуга перед эпохой — издание сборника анекдотов... И так целый день с утра до вечера, по радио в начале каждого часа во время выпуска очередных новостей. Причём смерть Трахтенберга — новость главнейшая...

Но вспомним, что когда умерли Вадим Кожинов, Юрий Кузнецов, Виктор Боков — ни слова о том, кого потеряла страна, ни на «Радио России», ни на одном телеканале произнесено не было. А тут столько разговоров — на каком престижном кладбище похоронят, в какой день, в какое время, куда друзьям приходиться, чтобы попрощаться с великим Трахтенбергом...

Декабрь 2009 г.

Виталий Найшуль — президент Института национальной экономики (о Господи, сколько изобретено и создано всяческих институтов и фондов для благоденствия всяческих идеологов перестройки!) с голубого экрана успокаивает нас, что мировой финансовый кризис — это «обновление», это «появление новых возможностей», это «новые пути» и «новые надежды».

Его институт во время кризиса, естественно, не закрылся, и то, что президент института в начале 90-х годов под руководством Чубайса изобрёл не именные, доступные купке ваучеры, многие обездоленные с помощью этого мошенника люди уже забыли, а он снова сидит в голубом экране и вещает о рецептах развития и спасения России...

Ноябрь 2009 г.

Русская революция рождалась на свет при вспышках ослепительных утопий: «при коммунизме отхожие места будут из золота», «каждому по потребностям — от каждого по способностям», «всю работу в будущем станут делать машины», «человек будущего — это человек-артист», «победивший пролетариат начнёт завоевывать околоземное пространство», «земля — это колыбель человечества, но нельзя жить вечно в колыбели». И так далее и тому подобное.

Страницы дневника

Этой грандиозной утопии истово служили и внедряли её в головы граждан и обывателей, прославляя и пропагандируя её, многие великие люди той эпохи: Ленин и Троцкий, Циолковский и Александр Блок, Мичурин и Владимир Маяковский. И только редкие умы, среди которых был, конечно, ещё молодой Сталин, понимали, что смысл русской революции гораздо серьёзнее и проще: сохранить Россию и её народ от колониального вырождения, отстоять её место под солнцем, спасти как государство в эпоху наступающего глобального передела мира. Люди такого склада, отбросив, как идеологическую ветошь, абсурдные мысли и планы о мировой революции и о всеобщем счастье человечества, погрузились в заботы о хлебе и каменном угле, о фабзавучах и прививках оспы, о военно-физической подготовке молодёжи и о лампочке Ильича, о ликвидации неграмотности и строительстве МТС. Всего-то на-всего. Вместо «голубых городов» и сортиров из золота. Лишь бы устоять в грядущей мировой бойне. Не до жиру — быть бы живу. Именно к такому смыслу приходили в России все великие утопические порывы, будь то мечта о граде Китеже, либо о Третьем Риме, либо о Москве — столице III Интернационала.

Октябрь 2009 г.

«Христос был поэтом», — сказал мне как-то Юрий Кузнецов, сочинявший поэму «Путь Христа». Но Сатана знал это, и понимая силу образного слова — тоже не дремал:

*Гремела атака, и пули звенели,
и ровно строчил пулемёт...
И девушка наша проходит в шинели,
горящей Каховкой идёт, —*

писал вдохновлённый силами ослепительной тьмы певец революции Михаил Светлов. Эта картина похлеще, нежели картина Делакруа — помните его сюжет: полуобнажённая француженка (чуть ли не из Фоли-Бержера) на баррикаде со знаменем в руках? Это не Дева Мария. Это — бесплодная Амазонка или Гадюка из одноимённого рассказа Алексея Толстого на фоне всемирного пожара, пламя которого не сумел окончательно погасить даже православный семинарист Иосиф Сталин. Это культ сверхженщины, образом которой бредили Исаак Бабель в «Конармии», Всеволод Вишневский в «Оптимистической трагедии», Дмитрий Фурманов в «Чапаеве».

*Ни стирать, ни рожать не умела,
никакая ни мать, ни жена,
лишь одной революции дело
понимала и знала она, —*

писал о таких фуриях революции поэт Ярослав Смеляков.

7.2.2010 г.

США — преступное государство. Поистине «империя зла». Вернём американцам эту формулу, изобретённую ими для СССР. Впрочем, все нынешние государства так или иначе преступны, поскольку рождались и завоёвывали своё место под солнцем в борьбе со своими соседями. А в борьбе за жизнь все средства хороши. Но если бы речь шла только о Соединённых Штатах Америки, как государстве! Америка прежде всего это преступное гражданское общество, которое построило своё благополучие (ещё не будучи государством!) на костях краснокожих индейцев и на рабском труде

чернокожих негров, насильно перевозимых, в цепях и кандалах, с Африканского континента на Североамериканский. Таким бесчеловечным образом не создавалась в мировой истории ни одна христианская цивилизация. Именно с тех пор, с XVI века, ещё не имея государственных институтов, европейский криминальный сброд, хлынувший в Северную Америку, образовал преступное гражданское общество. Что такое суд Линча, как не деяние гражданского общества? А нынешние массовые расстрелы в американских городах одних граждан другими? Это тоже обычай гражданского общества. А ведь такие кровопролития в США происходят с постоянной закономерностью во всех штатах. Люди вершат самосуд по самым разным поводам, не обращаясь к государству. В советское время у нас в год совершалось всего лишь десять тысяч убийств, вдвое меньше, нежели в Америке, где градус ненависти граждан друг к другу был гораздо выше, чем в СССР. Студент расстреливает своих товарищей по университету, солдат — своих сослуживцев по армии, служащий своих более удачливых коллег по офису... Часто такого рода самосуды заканчивались и заканчиваются самоубийствами. В Америке позорно быть неудачником — и неудачники в иррациональной ярости пытаются смыть этот позор, расстреливая более удачливых сограждан. Конечно, такого рода расправы живут в генах американского гражданского общества, возраставшего на земле, удобренной кровью краснокожих и трудовым потом рабов из какой-нибудь Нигерии. Вроде благополучная внешне страна, успешно ограбившая весь мир: 5 процентов населения Земли потребляют 30 процентов земной нефти и 40% остальных природных ресурсов. Конкуренцию за такой уровень жизни американцы выиграли у других народов. А счастья всё равно нет, задыхаются от зависти, от ненависти, расстреливают друг друга и ещё осмеляются кричать: «Боже, спаси Америку».

Впрочем, мы, склонившиеся перед силой золотого тельца, становимся всё больше и больше похожими на них... У них в год по-прежнему происходит 20 тысяч убийств, а у нас уже в полтора раза больше. Поистине, вспомнишь крылатое изречение кого-то из мудрецов: «Мёртвые хватают живых»...

Включил «радио России». Некий Владимир Леви с неким Максимом Леви ведут передачу о каком-то джазовом кумире Америки 30-х годов, о блюзмене Роберте Джонсе, о «великих» исполнителях блюза, о некоем Ирвине Берлинге и прочих, наверное, забытых у себя на родине музыкантах, имя которым легион. Телеведущие захлёбываются в словословии по поводу блюзменов 30-х годов: «легендарный», «великий», «гениальный пьяница», «урод с золотым сердцем», восхищаются неким Томом Морицем, который беспрестанно наркоманил и дрался с женой... Но на что мне знать подробности жизни этих призраков с их пустой жизнью, наполненной звуками животного происхождения?

Вспоминаю радио послевоенной сталинской эпохи, голоса Лемешева, Козловского, Руслановой, Михайлова... Русский народный мелос: «Меж крутых бережков», «Вдоль по улице метелица метёт», «Летят перелётные птиць», вальс «На сопках Маньчжурии»... В моей музыкальной памяти живут оперные арии Ленского, Варяжского гостя, князя Игоря, Дубровского, Ивана Сусанина, Риголетто... А тут мне впаривают блюзы какого-то наркомана из Нью-Орлеана, «урода с золотым сердцем»... Вырываю штепсель из радиорозетки, включаю первую программу телевидения, а там детские американские мультики, где животные судятся друг с другом — кошка с собакой, утка с курицей... Это америкосы учат наших детишек правовому сознанию, накачивают в детские головки юридическую белиберду. Никакой Каштанки, никакой Серой шейки, никакого зимовья на Студёной... Зато есть бегемот-судья, енот-прокурор, индюк-свидетель, хорёк-преступник. Тьфу ты, Господи!

Страницы дневника

Сила нечистая, жизнь животных — и ту умудрились опошлить...

У нас, что ли, нет своих замечательных детских мультиков или своих музыкальных групп, не обязательно русских, но татарских, мордовских, якутских, башкирских? Конечно, они есть, но у них нет никаких шансов попасть на Радио России, потому что все вакантные места там заняты «гениальными пьяницами» и «уродами с золотыми сердцами».

Июль 2010 г.

Побывал в Екатеринбурге. Увидел бронзовый многофигурный памятник Ливерпульской четвёрке, поставленный в центре города. А есть ли в Лондоне памятник Сергею Есенину, или Шаляпину, или балерине Анне Павловой, или, на худой конец, Владимиру Высоцкому? Увы... Нет, всё-таки в психологии наших демократов живёт неистребимое обезьянье низкопоклонство перед Западным миром. И великий учёный, выросший на Западе, Пётр Капица в 1946-м году написавший Сталину письмо об этой лакейской, смердяковской черте нашей интеллигенции, был, конечно, прав. И вождь, внимательно прочитавший письмо Капицы и объявивший после этого войну так называемому космополитизму, был тоже прав по-своему. Однако, нынешние потомки обезьяньего племени о сталинских гонениях кричат во все свои глотки. А о лауреате Нобелевской премии Капице — молчат.

15.12.2010 г.

Вспомнился один из соблазнительных слоганов ельцинско-гайдаровской эпохи: «Чем больше у нас будет богатых людей — тем лучше будет народу». Триста тысяч богатых российских семей живут в одном только Лондоне. И что? Народу нашему легче от этого?

Рынок, разогнанный в своё время Христом, зашедшим в храм. Он якобы все отрегулирует? Да как может отрегулировать себя стихийный автомобильный поток? Только всё более частыми катастрофами и кровавыми жертвами на дорогах. На плохих наших и на хороших американских. Результат один и тот же, потому что алчность общества потребления не знает границ («денег много не бывает»). Страсть к сребролюбию — смертный грех. Иудина страсть.

Свалки мусора на всей планете — метастазы общества потребления. Только самоограничение может спасти человечество, но самоограничение — это смерть рынка. А рынок — это путь к смерти. Что нам принёс рынок с его демократией и правами человека? Это расстрелы своих соседей и сослуживцев (по американскому образцу), это однополые браки, это педофилия, это банды хулиганствующих футбольных фанатов с их иррациональным озверением, это заказные убийства и разгул небывалого в нашей стране мошенничества во всех сферах жизни — строительных, финансовых, медицинских, образовательных и т. д. Это тридцать тысяч несчастных, ежегодно погибающих на дорогах, это семьдесят тысяч молодых душ, ежегодно умирающих от наркотиков. Это вновь вернувшиеся к нам туберкулёз, сифилис, сибирская язва. Я уж не говорю о СПИДе... Вот что такое рынок «товаров и услуг»...

3.3.2011 г.

Когда наши либералы, начиная от покойного Юрия Корякина и кончая Николаем Сванидзе, кликушествовали на всю страну о том, что тело Ленина нужно вынести из Мавзолея, когда нынешние власти во время государственных праздников стыдливо прикрывают его красногранитные уступы фанерой или триколором, я вспоминаю

слова настоящего врага советской России, великого князя Александра Михайловича Романова, произнесённые в изгнании:

«На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи». Эту правду чувствовали многие знаменитые современники Ленина — Николай Клюев («Есть в Ленине керженский дух, диктаторский окрик в декретах»), Сергей Есенин (ответивший своим землякам: «Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он — вы»), Борис Пастернак, запечатлевший образ Ленина в бессмертных строках («Он управлял теченьем мыслей и только потому страной»). Ну кто они по сравнению с этими вечными спутниками русской культуры — всяческие млечины, познеры, пивоваровы? Мелкие бесы на громадном теле русской истории.

Ноябрь 2011 г.

Смотрю фильм о Вольфе Мессинге. Местечковый быт, сентиментальные, добрые люди, раввин, выпивающий с мужиками. Мать, обнимающая сына. Все грустят, смеются, плачут. Не люди, но ангелы, подобные тем, которые были изображены и в романе «Тяжёлый песок» Анатолия Рыбакова. Восточно-европейские ашкенази, в жилах которых семитская кровь смешалась с тюркской... Но каким образом из этих благостных человеколюбцев вышли Ягоды, Блюмкины, Френкели, Берманы, Розалии Землячки, Трилиссеры, Аграновы, Свердловы, Юровские, Урицкие, от чьих деяний содрогнулись Леонид Канегиссер и Осип Мандельштам, Юрий Домбровский и Валентин Катаев?..

Ноябрь 2011 г.

Вместо некролога

По-настоящему я подружился с Леонидом Бородиным в мае 1990 года, когда наша маленькая делегация писателей прилетела в Америку. Для проживания в гостиницах нас разделили на пары, и мы с Бородиным, не сговариваясь, выбрали друг друга. Мне сразу же понравился этот подтянутый, сдержанный, немногословный человек, о котором в еврейском альманахе «Панорама» было написано так: **«При Брежнев он был диссидентом и подвергался репрессиям. Его русский национализм всегда носил не проталинский, а антисталинский характер. Однако можно думать, что эти различия остались в прошлом: в годы гласности и перестройки русские националисты всех оттенков стремятся слиться в одну сплочённую группу...»** (Если бы так!) Об известном еврейском правозащитнике Алике Гинзберге, с которым они сидели в мордовских лагерях, Бородин в ответ на мой вопрос отозвался холодно и отчуждённо:

— Ему это для биографии было нужно!

Бородину же все его лишения нужны были не для биографии, а «для России».

Конечно, мы, как русские люди одного поколения, часто спорили с ним до хрипоты о том, может ли «советское» быть «русским» и наоборот. Порой эти размолвки становились глубокими и длительными, но всё же, когда у него вышла честнейшая автобиографическая книга «Без выбора», то он подарил её мне с миротворческой надписью:

«Станиславу Юрьевичу Куняеву с искренним уважением. А что жизнь всякому видится разное, то так ли это плохо? 10.XI.03. Бородин».

Прочитав эту книгу, я ощутил укол радости от того, что обнаружил, как нечаянно-негаданно однажды помог этому удивительному человеку в одно из мгновений его лагерной жизни, о которой он вспоминает так:

Страницы дневника

«Больше десяти лет тому назад прочитал я у С. Куняева такую вот строку: «Чем ближе ночь, тем Родина дороже» <...> чем старше становлюсь, тем чаще по поводу и без такового строка эта всплывает в памяти. Будто мной придумана и переживается как нечто глубоко личное и собственное <...> Почему она мучает меня в бессоннице? Почему сотни, тысячи прекрасных литературных строк, сопровождавших меня по жизни, каковой, если откровенно, никому не пожелаю, почему эти строки, из памяти не исчезнув, большей частью как бы пребывают в «запасниках», а эта вот, и не пушкинская, не тютчевская, не гумилёвская, — почему она...»

И это написано после многих наших мировоззренческих размолвок. Вечная память тебе, человек чистейшей души, блистательного таланта, юношеской отваги, редчайшего благородства, необыкновенного мужества и суровой, но подлинной любви к матери нашей России...

Юрий Кузнецов, когда узнал, что его любимая дочь собирается выйти замуж за азербайджанца, предупредил её: «Смотри, нарвёшься на стихотворенье», а когда она всё-таки поступила по-своему, то проклял ослушницу:

*Ну, а ты чем прикроешься, Юрьевна?
Только отчеством,
Только отчеством!*

Но тут он противоречил сам себе, поскольку задолго до этой «анафемы» угадал женскую сущность и написал о ней гораздо точнее и глубже:

*Она ответила, как медь,
печальна и нежна:
— Тому, кому не умереть,
подруга не нужна.*

*На высоте твой звёздный час,
а мой на глубине,
и глубина ещё не раз
расскажет обо мне.*

Но почему они выбирают не русскую «глубину», а германскую, канадскую, итальянскую?! Поистине, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Боже мой! Куда я влез? — «В запретнейшие зоны естества», как напороочила себе однажды Ахматова. Я воспринимаю все эти «измены» роду, семье, родине как наше тяжелейшее, а может быть, и окончательное поражение даже не на историческом, а на генетическом, на метафизическом уровне, как роковую утрату какого-то важнейшего инстинкта самосохранения, без которого не может жить ни большой, ни малый народ.

Ведь самое главное поражение Тараса Бульбы — это не набег крымских татар на беззащитные курени Запорожской Сечи, не смерть Кукубенко, не былинная казнь Остапа... Самая страшное потрясение — это измена младшего сына Андрия:

— Что? Предать сичь, предать веру, предать Родину?!

Неужто в чём-то правы расовые законы, к которым принуждал древних евреев Ездра, а германцев 30-х годов Альфред Розенберг? А в наше время белокурая бестия норвежец Брейвик?! Какой ужас...

Сила и слабость моего понимания нынешней жизни состоят вот в чём. Когда я узнаю, что сестра моего давнего соратника по борьбе за национальную Россию уеха-

ла со всей семьёй в Америку, а дочка другого русского патриота в Германию, а дочка ещё одного близкого русского человека вроде бы в Канаду, то я переживаю все эти события как личную драму, как поражение не только всего нашего патриотического дела, но и как своё собственное поражение. Ну, если мы не сумели своих самых близких и кровных людей вырастить и воспитать для нашей несчастной родины, то чего стоят все наши усилия, все переживания, все надежды?

Когда я узнаю, что дочка моего самого близкого заветного друга молодости Анатолия Передреева вышла замуж за итальянца и уехала в Италию, то чувствую, что это моё личное поражение, и с горечью вспоминаю слова Василия Розанова: *«Национальность для каждой нации есть рок её, судьба её; может быть, даже и чёрная».*

И ещё: *«Счастливую и великую родину любить не великая вещь. Мы её должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжёт и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от неё».*

20.9.2012 г.

Женщина в судейской мантии потребовала для трёх «бешеных маток» два года заключения в колонии общего режима.

Много это или мало? Трудно сказать до тех пор, пока мы не решим, кого судим — людей или неких человекообразных существ.

Когда они (по иронии судьбы — в зоологическом музее!) встали на четвереньки — «на четыре кости», как говорят блатные, готовые к случке со своими двуногими партнёрами, то, конечно, мало чем отличались от уличных собак. Людского в них было только то, что они засняли эту случку на видео. Наверное, для истории, почему картина и попала на ТВ... Не дай Бог, если их повзрослевшие дети когда-нибудь познакомятся с этими кадрами.

Когда я в 1957 году приехал по распределению в заснеженный сибирский городок Тайшет, то первое, что меня поразило на улицах — это своры бродячих собак, справлявших свои свадьбы. Но я помню, как молодые матери уводили или отвлекали своих детей от этой животной гульбы, когда кобели грызлись друг с другом и вскакивали верхом на сучьи задницы. Неловко было глядеть на звериный сексуальный шабаш нормальным женщинам и тем более с детьми. Помню также, как в Индии мне было неловко видеть спаривающихся и совокупляющихся обезьян, может быть, потому, что они всё-таки чем-то похожи на людей.

Естественное чувство стыда, смущения и отвращения к «тварности мира» испытал в свои детские годы наш великий поэт, имевший особо чувствительную душу — Сергей Есенин:

*Да! Есть горькая правда земли, —
подсмотрел я ребяческим оком —
лизжут в очередь кобели
истекающую суку соком.*

Александр Пушкин, скорбя о своих грехах, порождённых тварной человеческой природой, писал:

*И с отвращением читая жизнь свою,
Я трепещу и проклиная...*

Страницы дневника

Но, глядя на улыбающихся в судебном зверинце подруг, понимаешь, что они, «с наслаждением читая жизнь свою», «не отличают славы от позора».

Они оскорбили не патриарха и не Путина. Они оскорбили святые лики, которые глядели на них с намоленных икон храма. Они потревожили мученические тени священников, расстрелянных или получивших лагерные сроки за сопротивление хунвейбинам и хунвейбинкам Емельяна Ярославского (Минейя Губельмана), создавших такую атмосферу в обществе, при которой стало возможным взорвать Храм Христа, спасшего Россию от нашествия богомерзкого Запада на святыни православия. Не потому ли тот же Запад от печально знаменитой Мадонны до депутатов Европарламента встал на защиту нынешних человекообразных существ... Не потому ли в колыбели нашего православия, в златоглавом Киеве последовательницы пусек голые феминистки спилили бензопилой поклонный крест на глазах у монумента святому Владимиру...

Бешенство матки — болезнь заразная. В Тайшете 50-х годов я встречался со многими вышедшими на свободу зэками... Они мне рассказывали, что «воров в законе», которые сотрудничают с администрацией, у них принято называть «суки отвязанные».

Кто-то из священников, комментируя эту грязную историю, грустно промолвил: «Церкви надо бы их простить...» Да, это дело церкви. Но простит ли Бог? — Вот вопрос...

Но так рассуждать можно лишь при условии, что они — люди. А если они приматы или приматки, всего лишь похожие на людей? Тогда действительно они не ведают, что творят, и неподсудны ни людскому, ни Божьему суду...

Как талантлив русский человек даже в своих падениях в низкие слои бытия! Из пошлого мелодраматического сюжета об уголовнице, связавшейся с ментами, он сотворил бессмертную историю, которая живёт почти сто лет и, может быть, ещё долго будет волновать наших потомков, внуков и правнуков: «Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай!» Шостакович мог бы сочинить на этот сюжет оперу, он ведь был всеяден, если судить по балету «Золотой век», который я видел в Праге лет тридцать тому назад. Но «Мурка» похлеще «Золотого века». У американцев есть Вест-Сайдская история, но «Мурка» богаче характерами и обильнее чувствами. Правда, Георгий Свиридов не взялся бы за неё.

А Шостакович — мог. Он более композитор плебса, нежели Свиридов, которого к старости захватила стихия духовной музыки, совершенно чуждой Шостаковичу. Но плебс — это ведь тоже народ, хотя и подпорченный... Чернь... Умом я всё понимаю, где живёт высокое искусство, где низкое. У меня не изодранный, не рафинированный вкус, скорее грубоватый. Я люблю песни, в которых всё смешано — социальная жизнь, жестокий романс, народное сентиментальное чувство. Такие творения всегда милы простонародному сердцу. Их сейчас подзабыли из-за нашествия попсы, но они не умерли, они живут, как в анабиозе, как трава под снегом. Это — «Раскинулось море широко», «Шумел камыш, деревья гнулись», и даже «Кирпичики», и даже «Мчатся по Чуйскому тракту машины»... В них живёт воздух времени с его страстями, слезами, восторгами. Горнего света в них нет, но живого тепла с избытком. Это сгустки нашей тленной, греховной, но столь милой простому сердцу жизни.

Сентябрь 2012 г.

Поэта далеко заводит речь...

К 120-летию со дня рождения М. Цветаевой

Люди литературы, как правило, вольно обходятся с историей. У них какое-то своё,

особое зрение, отличное от зрения Карамзина или Ключевского. Никакая стихотворная симфония А. Блока «На поле Куликовом», ни его поэмы «Возмездие» и «Двенадцать» не могут называться «историческими», так же, как многие стихи Тютчева или размышления Льва Толстого, предваряющие художественные главы «Войны и мира». Разве что Пушкин с его творчеством в целом и Шолохов с «Тихим Доном» достойны того, чтобы по их произведениям изучать две великих эпохи — императорскую и советскую, две великие революции — петровскую и ленинско-сталинскую.

В сентябре 1938 года Англия и Франция, трепетавшие перед германской мощью, отдали на растерзание немцам Судетскую область Чехословакии. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и через несколько месяцев, в марте 1939-го Гитлер, убедившись, что Лондон и Париж прогнулись перед Берлином, оккупировал Чехословакию целиком. Марина Цветаева, к тому времени переехавшая во Францию, но много лет прожившая в Чехословакии, пришла в отчаяние и посвятила этой трагедии цикл из пятнадцати стихотворений. Её экзальтированное воображение пыталось нарисовать картину благородного и отчаянного сопротивления чешского и словацкого народов германским гуннам: *«В клятве руку подняли все твои сыны — умереть за родину всех, кто без страны»*, Отважные славяне в её воображении отстаивали Чехословакию, как вторую родину всех изгнанников, в числе коих она видела и себя... В отчаянье она хваталась за любые подтверждения того, что Чехословакия сопротивляется, что если не свобода, то честь её любимой Богемии спасена. К своему стихотворению «Один офицер» она даже поставила эпиграф:

«В Судетах, на лесной чешской границе офицер с двадцатью солдатами, оставив солдат в лесу, вышел на дорогу и стал стрелять в подходящих немцев. Конец его неизвестен (из сентябрьских газет 1938 г.)»

Её не смутило, что солдаты не пошли за своим офицером, выстрелы которого в сторону немцев привели её в неописуемый восторг:

*Из лесочку — живым манером
на громаду — да с револьвером!
Пока пулями в немца хлещет, —
целый лес ему рукоплещет.
Понесена
Добрая весть,
что спасена
Чешская честь.
Значит — страна
Так не сдана.
Значит — война
всё же — была!*

А когда немцы стали хозяевами всей Чехословакии, она опять же выискала в европейской прессе сообщение о том, что *«чехи подходили к немцам и плевали»* (см. *мартовские газеты 1939 г.*). И воспела это свидетельство «мужественного» сопротивления в стихотворении «Взяли»:

*Брали — скоро и брали — щедро:
Взяли горы и взяли недра.
Взяли уголь и взяли сталь,
И свинец у нас и хрусталь.*

Страницы дневника

.....
*Взяли пули и взяли ружья,
Взяли руки и взяли дружбы...
Но покамест во рту слюна —
Вся страна вооружена!*

Но куда делись «сталь», и «уголь», и «свинец», и «пули», и «ружья» — что случилось? — От всей вооружённой мощи остались одна «слюна»?!

Экзальтация Марины Цветаевой никогда не имела пределов. Она влюблялась в молодости сначала в мужчин, а потом в женщин, она могла в одно время отдать своё сердце Германии («Германия! Моё безумье! Германия — моя любовь!»), а в другое — проклясть немецких гуннов. Могла до небес воспеть Белую гвардию (в «Лебедином стане»), а потом с тем же вдохновением прославить Советский Союз в стихах к сыну — и подвиг челюскинцев... И, убедившись, что в Чехословакии кроме одного офицера никто не защитил Родину и что кроме слюны у чехов не осталось другого оружия, поэтесса решила прославить не армию, а весь народ:

*Его и пуля не берёт,
И песня не берёт!
Так и стою, раскрывши рот:
— Народ! Какой народ!
Когда ни сила не берёт,
Ни дара благодать, —
Измором взять такой народ?
Гранит измором взять?*

(20 мая 1939 г.)

Из будущего коллаборационистского Парижа, готового через год сдать немцам, как и Прага, к чешскому народу весной 1939 года чуть ли не каждый день летели рифмованные призывы Цветаевой к борьбе, к сопротивлению, к восстанию против европейских гуннов: «*Богемия! Богемия! Не лежи, как пласт! Бог подавал обещаниями и опять подаст*»; «*С объятьями удавими Расправится силач! «За здравие, Моравия! Словакия, словачь!»*»; «*Не погибнет чех*»...

Стихи пишутся каждый день! Вдохновение не иссякает! Заключительное стихотворенье чешского цикла поднимается до высот, где живут не просто стихи, но государственные гимны:

*Процветай народ, —
Твёрдый, как скрижаль,
Жаркий, как гранит,
Чистый, как хрусталь.*

(21 мая 1939 г. Париж)

Видимо, из французского «далека» пошлые исторические подробности чехословацкой драмы были плохо различимы для её близоруких глаз... На самом же деле оккупация Чехословакии была весьма странной, поскольку и власть и народ были не достойны ни восхищения Марины Цветаевой, ни романтических надежд, которые она на них возлагала.

Итак, 29 сентября 1938 г. в Мюнхене западные демократии сдали Чехословакию

Гитлеру. Утром 30 сентября президент Бенеш получил из Берлина ультиматум о том, что в течение 10 суток Судетская область должна перейти под власть Германского рейха. Чехи не стали ждать десять дней, посоветовались полтора часа, и премьер-министр республики Ян Суровы сообщил Берлину и гражданам своей страны, что ультиматум принят. Во время полуторачасового обсуждения германской ноты министр иностранных дел чешского правительства Камилл Крафта заявил своей политической и военной элите:

«Теоретически ультиматум можно отвергнуть. За этим последует война, в которой никто нас не спасёт». Когда немецкие войска вошли в Чехословакию, многотысячные толпы народа приветствовали их во всех городах и весях, в том числе и в Праге, где дед и тёзка будущего президента нашей эпохи крупный коммерсант Вацлав Гавел приветствовал гитлеровцев с балкона своего, как сказали бы сейчас, супермаркета... Если кто-то из чехов и плевал в сторону немцев, чем восторгалась Цветаева, то, видимо, немцы этого не заметили. Вот так Чехословакия стала протекторатом великой Германии, и в июле 1941 года президент протектората чех Эмиль Гаха обнаружил послание гражданам, в котором говорилось:

«Для того, чтобы чешский народ принял участие в великой борьбе немецкого народа и внёс свой вклад в дело его победы, ему были определены задачи, особенно в области снабжения и вооружения... Военный взнос в 5 миллиардов крон был нами сделан ввиду того, что чешский народ непосредственно не участвует в войне».

Откупились. И на эти 5 миллиардов крон началась работа «чешского народа» «в области снабжения и вооружения» гитлеровского вермахта. 122 чешских военных завода, 12 000 средних и мелких предприятий, два с половиной миллиона самых квалифицированных в Европе рабочих и технических специалистов, начиная с 1939 и по 1945 год, ковали победу вермахта, снабжая гитлеровскую армию танками, грузовиками, пушками, автоматами, винтовками, револьверами и т. д.

Гитлеровские офицеры, получив отпуска с фронта, стремились именно в Чехословакию, которая предоставляла им все возможности для восстановления сил и здоровья, потраченных на Восточном фронте, о чём знаменитая киноактриса Ольга Чехова писала в своих воспоминаниях: **«Злата Прага не утратила своего блеска; и в гастрономическом отношении она предлагает удовольствия, которых в рейхе для простых смертных уже давно не существует. Короче: Прага — отдых от войны».** Даже в Париже, где для гитлеровской офицерии пели в ресторанах Ив Монтан и Эдит Пиаф, и которых обслуживали проститутки и многие честные женщины Парижа, не было столь комфортных условий для отдыха оккупантов. Всё-таки во Франции какое-то, хотя и жалкое сопротивление, но было. А в Чехословакии не было ничего опасного — ни сопротивления, ни партизан, сплошной комфорт...

Бедная, наивная, экзальтированная, умевшая зомбировать самую себя Марина Цветаева! Хорошо, что она ничего не узнала о позорном лакействе её любимой Чехии, её прекрасной Богемии, её сказочной Моравии! Хорошо, что она не знала о том, что в составе гитлеровского рейха, топтавшего её родину Россию, было около ста тысяч коричневых Швейков, шестьдесят тысяч из которых после окончания войны работали как военнопленные, восстанавливая наши города, разбитые «тиграми», самоходными орудиями, бомбардировщиками, которыми управляли и командовали её любимые чехи и словаки.

Слава Богу, она не узнала о том, что какие-то плевки разгневанных чехов и какие-то выстрелы одинокого чешского офицера по немецкой колонне скорее всего явились выдумкой жёлтой европейской прессы, о которой она сама писала с благородным негодованием:

Страницы дневника
что ни столбец — навет,
что ни абзац — отврат...

Слава Богу, что она не узнала о том, что президенту протектората Эмилю Гахе, в своё время торжественно сообщившему о «военном взносе» чешского народа в военную промышленность Рейха в размере 5 миллиардов крон, в канун 50-летия победы над фашизмом была открыта в Праге мемориальная доска «за вклад в сохранение Чехословакии» в годы Второй мировой войны.

Слава Богу, что Марина Цветаева так и не узнала слов американского посла в послевоенной Чехословакии Штейнгарда, который сказал:

«Чешский народ всегда отдавал предпочтение жизни без напрасной борьбы, нежели борьбе за свою свободу»...

Остаётся только вспомнить её искренние строки:

Так и стою, раскрывши рот:
Народ! Какой народ!

Да, Пушкин прав: «Поэзия должна быть глуповата»... И Марина Цветаева не зря любила Пушкина!

Сентябрь 2012 г.
Вырожденцы

Моя книга «Жрецы и жертвы Холокоста» впервые публиковалась в течение всего 2010 года в журнале «Наш современник». Через год она была издана в издательстве «Алгоритм» и распродана в течение нескольких месяцев. Издательству пришлось печатать ещё один тираж. А в 2012 году выпускать в свет второе книжное издание «Холокоста», дополненное по сравнению с первым многочисленными читательскими откликами, а также рецензиями и обширными статьями из массовой прессы.

Всё было бы хорошо, кроме одного: мои недруги из либеральной прессы, которые раньше всегда и сразу кидались со мной в спор то в «Московском комсомольце», то в «Новой газете», то в журнале «Знамя» и «Литературной России», то в «Еврейской газете», на этот раз не издали ни звука. Ни Марк Дейч, ни Леонид Радзиховский, ни Семён Резник, ни Павел Полян — никто ни гу-гу. А я, любивший открытую борьбу, ждал их нападения, но вскоре понял, что его не будет. Сам виноват. Слишком переборщил в аргументации, пользуясь аргументами из книг лорда Дизраэли-Биконсфильда, известной журналистки Ханны Арендт, историка из США Нормана Финкельштейна, министра иностранных дел Веймарской республики Вальтера Ратенау, профессора Иерусалимского университета Шломо Занда, партийной функционерки из ГДР Мишкет Либерман, знаменитого деятеля еврокоммунизма Роже Гароди... Так получилось из контекста, что спорить со мной означало спорить с ними, евреями по происхождению. Мне бы для приманки насовать в книгу цитаты из явных «черносотенцев и антисемитов» — Маркова Второго, Осипа Меньшикова, Ивана Шевцова, Валерия Хатюшина, а я «из страха иудейска» перестраховался и лишил своих закадычных врагов возможности впиться зубами в ненавистные им страницы.

Однако недавно мне стал известен единственный отзыв о книге «Жрецы и жертвы Холокоста» из лагеря моих персональных противников.

На сайте «Московского бюро по правам человека» один из моих почитателей обнаружил заявление, озаглавленное «Черносотенные книги снова на книжной ярмарке в Москве», подписанное председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным, президентом фонда «Холокост» и членом общественной палаты Аллой Гербер и директором московского бюро по правам человека Алек-

сандром Бродом. Народ серьёзный, все при должностях. Правда, в литературном отношении это, конечно, не радзиховские и резники, но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Эти деятели жалуются и негодуют, что Московская книжная ярмарка *«уже много лет подряд привлекает к себе внимание правозащитников-антифашистов как крупнейший центр распространения ксенофобской литературы. Год за годом на стендах издательств продавались труды, пропитанные махровой ксенофобией <...> Демонстрировало свои книги и печально знаменитое издательство «Алгоритм», специализирующееся на шовинистической литературе. Последнее их издание — труд ветерана «патриотического движения» поэта Станислава Куняева «Жрецы и жертвы Холокоста». Автор преумножает признанную трагедию XX века, а также обрушивается на «происки и преступления» евреев в самых разных сферах... <...> В то время, как во многих европейских странах публичное отрицание Холокоста, пропаганда национальной ненависти жестко карается законом».* У меня от сердца отлегло. Слава Богу — первая серьёзная поклёвка, Пора подсекать. Но тут же мне повезло вторично: подписанты-антифашисты выразили возмущение книгой некоего, как они пишут, **«научного расиста»** Д. Раштана, **«пытающегося отстаивать тезис о неравенстве рас»**. Ну как же могли забыть борцы против расового неравенства о том, что именно идеология «неравенства рас» и помогла всем «цивилизованным народам» выстроить цивилизацию Европы и Северо-Американского континента, когда в течение нескольких столетий «более развитые расы» заставили работать на себя бездельников, тунеядцев и дикарей Северной и Центральной Америки, ленивых рабов всего Африканского континента, Индии и Китая, Австралии и Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии и бесчисленных островов Индонезийского архипелага. Выдающимися теоретиками этого мирового порядка были многие великие люди: англичане Томас Гоббс и Даниэль Дефо, Редьярд Киплинг и Оливер Кромвель, французы Жозеф Гобино и Наполеон Бонапарт, американцы Джон Вашингтон и Уолт Уитмен, немцы Адольф Розенберг и Адольф Гитлер. Но им всем было далеко до гениальных умов избранного народа, к которому принадлежит и наша антифашистская компания.

«Евреи, несомненно, представляют собой наиболее чистую расу из всех цивилизованных наций мира» (Нахум Соколов).

«Еврейская раса — одна из исходных рас <...> Еврейский тип сохранился — он существовал во все времена, во всех поколениях» (М. Гесс).

«Только одна сверхнация есть цвет и цель человеческого рода: остальные были созданы, чтобы служить этой цели, чтобы служить лестницей, по которой можно было бы подняться на вершину» (Ахад Хаам).

Вот какой гимн «неравенству рас» сложили отцы-основатели сионизма!

А за две с лишним тысячи лет до этого вожди ветхозаветного племени Езра и Нехемия запретили своим соплеменникам заключать смешанные браки, а тем, кто уже успел совершить такую ошибку, они приказывали эти браки расторгнуть. Вот уже когда призрак нюрнбергских законов появился на горизонте истории, вот как ваши предки боролись за чистоту расы. Они знали всё о неравенстве рас, не заглядывая ни в какие книги. Вы же являетесь их прямыми потомками, и вам бы поблагодарить «научного расиста» Раштана, а вы на него донос в Интернете публикуете. Ратуя за «равенство рас», вы попираете ногами постулаты великих основоположников сионистского государства о принадлежности Палестины «избранному народу», а не каким-то там нищим и оборванным бедуинам.

Алла Гербер много лет заседает в Общественной палате рядом с Николаем Сванидзе, знатоком истории. И это естественно, потому что Общественная палата у нас является своеобразным Синедрионом, куда попадают антифашисты самой высшей пробы. Давайте вспомним, как яростно сражался за свои идеалы Николай Сванидзе в программе «Суд истории». Правда, он проиграл все поединки с Кургиняном, а

Страницы дневника

потом даже и с Дмитрием Киселёвым. Но это только потому, что голосовали против него сплошные «совки», ничего не понимающие ни в историческом процессе, ни в национальном вопросе, не знающие того, что светлейший ум еврейства Макс Нордау утверждал: *«Евреи обладают большей предприимчивостью и большими способностями, чем средний европеец, не говоря уже о всех этих инертных азиатах и африканцах»...*

Но глядя на подписантов антифашистского письма, я понимаю, что это, к сожалению, не относится к таким умам, как Евгений Прошечкин и Александр Брод, хотя оба они являются представителями того избранного народа, о котором великий Генрих Гейне, лёжа в кровати, парализованный, страдающий от сухотки спинного мозга, изъеденного сифилисом, писал: *«Еврейство — аристократия, единый бог сотворил мир и правит им, все люди его дети, но евреи — его любимцы»*. Но какой из Александра Брода «аристократ» и божий «любимец», если его изгнали из нового состава Общественной палаты? Хотя в древности бывали похожие репрессии: именно так ветхозаветная иерусалимская бюрократическая элита изгоняла из святого города своих пророков и даже побивала их камнями за обличение властей. Но Александр Брод поступил, как недостойный сын своих великих пращуров: борясь за свои права человека и директора Московского бюро по этим самым правам, под покровом московской ночи он прокрался в апартаменты Общественной палаты и объявил там политическую голодовку. Смех да и только! И это вместо того, чтобы выйти на Красную площадь, на Лобное место, как это сделала в 1968 году семёрка храбрых диссидентов, возглавляемых грудным ребёнком Натальи Горбаневской, и закричать на весь мир: «Все расы — не равны, и потому мы являемся избранным народом!»

Как выродились потомки Ездры! Единственное, что они умеют — сочинять кляузы:

«Мы призываем организаторов выставки, генеральную прокуратуру РФ, Российской книжный союз — прекратить этот ежегодный черносотенный шабаш <...> высказать свои позиции в связи с непрекращающейся пропагандой неонацизма, расизма, агрессивной ксенофобии, антисемитизма». Ну хотя бы вспомнили Брод и Прошечкин слова Генриха Гейне, полные восхитительной гордыни:

«Если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку»... Слава Богу, у нас далеко ходить не надо. Люди самой чистой расы везде — куда ни плюнь... *Но таким, как вы, Генрих Гейне руки бы не пожал...*

Виктория Можаяева



ЕЩЁ Я УМЕЮ...

Принимаю всю твою печаль, –
Как дитя больное, обнимаю,
Словно сердцем ножевую сталь
Принимаю,
Все твои снесённые мосты,
Все твои разбитые дороги,
Все твои поклонные кресты
И остроги.
Всех твоих невинных стариков
И мальчишек, скачущих на прутьях,
Всех твоих Иванов-дураков
На распутьях.
Всё твое богатство и нужду,
Всю твою жестокость и участие,
Всё твое спасенье и беду, –
Словно кровь Христову на причастье.

Куда ведёт дорога эта?
И что в округе за страна?..

Можаяева Виктория Валерьевна – поэт, член Союза писателей России, автор нескольких сборников стихотворений. Живёт и работает в хуторе Можаяевка Тарасовского района Ростовской области.

Ещё я умею...

Куда ни глянешь – на полсвета
Поля и дождь, и тишина.
Есть у души свои смешные,
Лишь ей знакомые ходы, –
И вот деревья, как родные,
Руками машут от воды.
И капель тонкие живинки
Холодной чувствуешь щекой,
И прошлогодние травинки
Пригладить хочется рукой.
И то, что тайно, – очевидно,
А то, что явь, – не узнаю.
И лишь людей совсем не видно
В преобразившемся краю.
С людьми я запросто расстанусь
И не заплачу, уходя...
Блаженной дурочкой останусь
Среди полей, среди дождя.

Остывает на сердце зола,
Всё бесценнее свет дорогого.
И пускай эта жизнь тяжела –
Ничего мне не нужно другого.
А положат лицом на восток,
И прервётся мой путь хлопотливый, –
Надо мной посадите цветок,
Многоцветный и неприхотливый.
И, когда к вековой тишине
Приведёт вас тропинка немая,
Вы не станете плакать по мне,
Голубые цветы обнимая...

– Когда, от боли чуть дыша,
Ты муку древнюю терпела,
А пела ль у тебя душа?..
– Да, Ангел мой, ты знаешь: пела.
– Ну, а когда, огонь туша,
Глядела в ночь оторопело, –
Всё пела у тебя душа?
– Да, Ангел мой, ты слышал: пела.
Да и теперь, уже спеша,

Веду свой голос огрубелый.
Ещё поёт моя душа...
Но замолчал мой Ангел белый.

На глубине моей беды
Ещё струится ключ живучий,
Осталась капелька воды –
Всё затянул песок пływучий.
Стирают белые пески
Следы напрасного усердия...
На глубине моей тоски
Осталась капля милосердия.
Сгорают тщетные слова,
Клубятся горькие виденья,
И всё кружится голова
От неизбежного паденья.

Люди ходят, от солнца раскосы,
Дети возятся в тёплой пыли...
Зацвели на Дону абрикосы,
Абрикосы вчера зацвели.
Как похожи с японской сакурой
Их цветы на ветвях без листвы!
А земля покрывается шкурой
Первобытно зелёной травы.
Облака заплетаются в косы,
Время близится ливней и гроз...
Зацвели на Дону абрикосы,
А под утро ударил мороз.

Морозы – зимние предвестники,
Качнулись звёздные весы.
На Богородичные праздники
Земля в сиянии росы.
Тихи пределы Гадаринские,
Как рыбы сонные в сетях,
И только слёзы материнские
Горят на скрещенных путях.

Ещё я умею...

Трепещет музыка забытая,
Стрела летящая свистит...
Лежит земля, росой умытая,
Косынка по небу летит.

Прожив беспечно много лет,
Вертя привычно круг недельный,
Вдруг осознать себя как свет,
С небесным светом нераздельный.
Вдруг ощутить с каких-то пор,
Что возле нас, не в мире сказок,
Так много связей и опор,
И подтверждений, и подсказок!
Полжизни бросив, как пятак,
Увидеть нищими глазами,
Что даже снег не просто так
Сияет звёздными слезами.

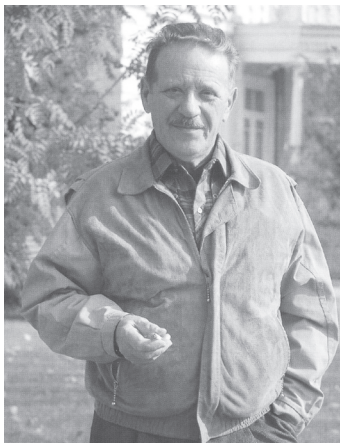
Была крива, была пряма
Тропинка – долгое раздумье.
Я, может быть, сойду с ума,
Уйдя в безбрежное безумье,
Но где-то там, где будет Суд,
Где всем заблудшим есть поруки,
Меня согреют и спасут
Ко мне протянутые руки.

Ещё я умею ходить босиком,
И музыку слышать в берёзовых сенах,
И плакать украдкой над каждым цветком,
И около речки стоять на коленях.
И нужно мне только немного огня,
И – чтобы синичка под окнами пела...
Куда же уходите вы от меня,
Те люди, к которым душа прикипела?
...Одно остаётся: ходить босиком,
И музыку слушать в берёзовых сенах,
И плакать украдкой над каждым цветком,
И около речки стоять на коленях.

Крутояр



Михаил Михайлович Шолохов



КАК РАНО ЗАВИСТИ ПРИВЛЁК ОН ВЗОР КРОВАВЫЙ...

Из книги воспоминаний и размышлений «Об отце»

«Здравствуйте, мои дорогие!

Послал вам деньги вчера, а сегодня собрался написать.

Моя милая Марусёнок, ты тысячу раз права — из Москвы скоро не уедешь... Я вначале рассчитывал так: выехать сегодня, но, оказывается, объективные обстоятельства перепланировали моё решение. Рассказываю по порядку: ты не можешь себе представить, как далеко распространилась эта клевета против меня! Об этом только и разговоров в литературных и читательских кругах. Знает не только Москва, но и вся провинция. Меня спрашивали об этом в Миллерово и по железной дороге. Позавчера у Авербаха спрашивал об этом т. Сталин. Позавчера же иностранные корреспонденты спрашивали у РОСТА соглашение, чтобы телеграфировать в иностранные газеты о «шолоховском плагиате». Разрешение, конечно, дано не было.

А до этого ходили слухи, будто я подъесаул Донской армии, работал в контрразведке и вообще заядлый белогвардеец. Слухи эти не привились ввиду их явной нелепости, но и про это спрашивал Микоян; причём — любопытная подробность — когда его убедили в ложности этих слухов, он сказал: «Даже если бы Шолохов и был офицером, за «Тихий Дон» мы бы ему всё простили!»

Меня организованно и здорово травят. Я взвинчен до отказа, а в результате — полная моральная дезорганизация, отсутствие работоспособности, сна, аппетита. Но душой я бодр! Драться буду до конца! Писатели из «Кузницы»: Березовский, Никифоров, Гладков, Малышкин, Санников и пр. людишки с сволочной душонкой сеют эти слухи и даже имеют наглость выступать публично с заявлениями подобного рода. Об этом только и разговору везде и всюду. Я крепко и с грустью разочаровываюсь в людях... Гады, завистники и мерзавцы, и даже партбилеты не облагородили их мещански-реакционного нутра.

Шолохов Михаил Михайлович — младший сын писателя Михаила Александровича Шолохова. Много лет преподавал в Ростовской Академии МВД. В настоящее время живёт в станице Вёшенской Ростовской области.

Всё это уже рассеивается. В печать пойдёт в воскресенье опровержение РАППа (Серафимович, Фадеев и др. изучали мои черновики и записи), а клеветников привлекают к партийной ответственности, и дело о них фракция РАППа передает в КК*. Ты всего не представляешь! Ох, как закрутили, сукины сыны! Вот по Москве слух, что авторитетная комиссия установила мой плагиат (позаимствование, грубее говоря — воровство) и передала материал прокурору Верховного суда Крыленко. Из «Октября» звонят ему. Крыленко руками разводит — «В первый раз слышу!» А слухи уж виляют: «Материалы в ЦК партии!» Звонят туда — и там ничего не знают. Сплетня выбивается в следующее русло: «Материалы, обличающие Шолохова, в ЦИКе, и уже наложен арест на 50 процентов гонорара». По выяснении — ерунда... И так последовательно ссылаются на «Правду», на редакции разных газет, а когда там справятся, на поверку выходит сплетня. В издательстве беспрерывные звонки, в магазинах книги бесчисленные вопросы, на фабриках, на вечерах то же самое... Неплохо атаковали?

Я остаюсь до окончательного выяснения этого дела. С 25 по 31 выступаю с докладами о «Доне» на пяти крупнейших предприятиях, в клубе им. Кухмистерова, в Доме комсомола и т. д. Надеюсь, ты понимаешь всю чрезмерную опасность создавшегося для моего имени положения и не будешь на меня в претензии за задержку. Да если б я сейчас и поехал, то наверняка сидел бы по неделе у каждой речки. Ибо в Ольховом Рогу мост разобран, снегов в каждой балке пропасть, и сейчас, судя по газетам, уже наступило бурное снеготаяние там у нас.

Я по-прежнему обедаю через день и сплю меньше, чем дома. Но это всё ерунда, важно рассеять клевету, подлюю клевету! Не так ли?

Маруська! Вчера мне ГИЗ предложил издать «Тихий Дон» у них в массовой библиотеке. Знаешь, сколько предлагают платить? 24 000 рублей. По выяснении напишу. Вообще, буду писать по возможности чаще. С ГИЗом я, наверное, подпишу договор, они торопят, а я медлю из некоторых соображений этического порядка...»

Сейчас, извинившись, я бы хотел прервать ненадолго цитирование письма, поскольку рассказ об этом эпизоде может встретиться читателю в воспоминаниях Е.Г. Левицкой, а её комментарий к рассказу требует, на мой взгляд, кое-каких разъяснений.

«Помню такой характерный случай, — писала Евгения Григорьевна. — Однажды М. А. рассказал, что ГИЗ предлагает ему перейти печататься к нему, давая чуть ли не вдвое за печатный лист. С нескрываемой презрительной усмешкой он отказался от столь лестного предложения... Писатели возмущались таким отсутствием корыстоблюбия у «удачливого молодого автора».

И в другом месте:

«Откуда это презрение к деньгам? (При мне написал отказ ГИЗу от 400 р. за лист, в то время как «Московский рабочий» платил 200 р. Спросил моё мнение — я сказала: «Не стоит переходить в ГИЗ», — он тут же написал об этом.) Ни у одного писателя я не видела такого отношения к деньгам. Он презрительно говорит об Алексееве, Панферове и др. коммунистах, которые гонятся за деньгами... А ведь у него нет никакой профессии, кроме писательской...»**

Разъяснить здесь мне хотелось бы следующее: из дальнейших писем отца будет

* КК — контрольная комиссия ЦК ВКП(б). Неизвестно, было ли передано туда «дело» фракцией РАППа, но известно, что к ответственности никто привлечён не был.

** Знамя. 1987. № 10. С. 180.

Е.Г., очевидно и не задумываясь, употребила очень точное слово: «писатели возмущались...». Общаюсь с творческой интеллигенцией, окружавшей отца, я невольно обратил внимание на то, что не характерные для этих кругов поступки отца вызывали не просто удивление или несогласие, а именно возмущение. Так и читалось: «Числишься в нашем клане избранных, так уж веди себя, как подобает, как у нас принято». «С волками жить — по-волчьи выть», — повторял отец всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться с подобной реакцией. — Ну, а если мы выть не умеем? Остаётся одно — каркать белой вороной».

Как рано зависти привлёк он взор кровавый...

видно, что отношение его к деньгам отнюдь не было «презрительным». Он слишком хорошо знал, как, каким трудом даются деньги честному человеку, в те годы ему почасту и подолгу приходилось жить «взаймы», а вкусивший всего этого человек не может с презрением относиться к «презренному металлу».

Просто «некоторые соображения этического порядка» (о чём он говорит в письме к матери) настолько глубоко коренились в его натуре, что никогда — от молодых лет и до конца жизни — он не был и не мог быть корыстолюбивым, жадным до денег. И вот к этой-то жадной корысти, способной доводить человека до полного забвения им всех морально-этических «соображений», к этой людской корысти он действительно относился с «нескрываемым презрением».

И, исходя опять-таки из тех же самых соображений, никогда не обладая денежным богатством хотя бы в сотой доле того, какое приписывалось ему обывательской молвой, он всегда очень легко расставался с деньгами. «Они мне карман жгут, — нередко оправдывался он перед матерью, в очередной раз оставив семью на самом скудном пайке. — Ты посмотри, как ребята живут», — и начинал перечислять имена своих друзей писателей, по тем или иным причинам давно не издававшихся и потому испытывавших подчас настоящую нужду.

Ему ничего не составляло дать кому-нибудь из приятелей «в долг» значительную сумму, и он никогда не напоминал им о долге, поскольку чаще всего сам забывал об этом.

А когда, оставаясь без денег, мать просила его востребовать хотя бы часть долгов, ответ, как правило, бывал один: «Да чем же он (имярек) отдаст? Откуда у него деньги? А раз так, то чего же ему зря совесть будоражить, нервы трепать?»

Он мог за несколько дней прокутить с приятелями или даже с мало знакомыми, но чем-то заинтересовавшими его людьми весь свой гонорар, за всё расплачиваясь сам, тогда как пил всегда, бывая пьяным от немногого, неизмеримо меньше любого из присутствовавших, а ел (всегда аккуратно, с каким-то аристократическим изыском орудя ножом и вилкой) и того меньше. Возвращаясь в таких случаях домой, он всякий раз, скрывая смущение за натянуто-беззаботной улыбкой и деланной развязностью ухаля-кутилы, уже на пороге выворачивал карманы, демонстрируя матери итог «дружеской попойки» и как бы пресекая этим лишние расспросы и запоздалые, а стало быть, бесполезные уже укоризны.

Он помогал деньгами огромному количеству людей, письменно обращавшихся к нему. Он как-то светло и, я бы сказал, заразительно радовался всякому полученному в ответ благодарственному письму, зачитывал его присутствовавшим, заражая их своим чувством и заставляя вместе с ним радоваться чужой радости. Но обычным явлением было и то, что он посылал деньги как в никуда. «Лучше бы своим, детям, вон, больше помогал, — с безнадёжностью в голосе однажды проговорила мать, ткнув в мою сторону пальцем. — Посылаешь, а они даже простого ответа написать не удосуживаются». И, направляясь к двери, в успокоительном разговоре с собой продолжая затронувшую её тему, забурчала: «Миллионер нашёлся. Купчишка каргиновский... — не утерпев, уже держась за дверную ручку, повернулась ко мне, ища сочувствия и поддержки. — Полюбуйся на него. Как только лишняя сотня в кармане заведётся, всякому готов отдать, кто его разжалобит. А много ли надо, чтобы его разжалобить? Слезу поручьистой пусти, вот он и готов. А свои пусть на хлебе да на воде сидят». Мать тут же спохватилась, поняв, что уж чересчур перехлёстывает, как-то растерянно и оторопело посмотрела на меня и, оставляя, тем не менее, последнее слово за собой, проворно выскочила за дверь.

Проводив её каким-то грустновато-улыбчивым взглядом, отец несколько раз подряд затянулся сигаретным дымом. «Всё правда, — глубоко вздохнул он и, неумело подражая выговору одного своего давнего знакомого старика-казаха, добавил: «Одна-

ко, часто старый турак ошибка давал». Потом серьёзно и задумчиво продолжил: «Вот уж истинно кто-то из мудрых мира сего сказал, что надо помогать нуждающимся, а не подавать просящим. Только вот беда: даже одному по-настоящему нуждающемуся по-настоящему помочь у меня всех моих ресурсов не хватит. А не подать просящему... За Советскую власть перед ними стыдно».

Конечно же, многим и многим ему приходилось отказывать (повторяю, богатство его существовало лишь в сплетнях), хотя отказать попавшим в сложное положение людям ему было столь трудно, что часто, будучи не в состоянии помочь, он предпочитал отмолчаться, чем писать оправдания своей, как он говорил, «несостоятельности».

И я знаю единственный случай, когда в ответе некоему очень неумному человеку, который, что называется, «допёк» его нагло-требовательными и безудержно «массштабными» просьбами, прозвучало ничем не прикрытое раздражение:

Дорогой т. П-ов!

Я — такой же миллионер, как Вы — римский папа. Должен Вам сказать, что за дом, построенный мне в 1949 г. взамен разрушенного в 42 г. немецкой авиабомбой, я ещё до сих пор должен Государству весьма значительную сумму. Потому и Вам не могу ссудить.

12.2.1957 г.

С приветом, Шолохов

Ну, да ладно, довольно. А то получается, что, начав всего лишь с отношения отца к деньгам, я перешёл чуть ли не к дифирамбам его бескорыстию. Вернусь к письму...

«Светлане (старшей дочери М. А. Ш.) купил всё, хочу послать посылкой, но боюсь, как бы не подмокла в этакую ростепель, ведь почта будет плавать. Купил ей три платья: одно — красное шёлковое, другое — шерстяное синее с лакированным красным ремешком, третье — простое; шапочку и туфли 2 пары — лаковые и белые.

Хозяйствуйте хорошенько, береги, милая, собак и сама наблюдай, чтобы горячим не накормили, и чтобы не дрались. Коня Ваня* пусть проезживает через день. Привезли ли сено? Ты напиши сейчас же обо всём подробно, я думаю, письмо дойдёт. Не купили ли ещё овса? Как с камышом? Купил ли Ваня ольх? Ледник набили или нет?*** Была ли мать? Всё пиши. Как у Светы дела? Про неё ещё не узнавал... Непременно позови Лосовского*** и пусть он мне черкнёт о состоянии её здоровья.

Васька**** болен гриппом. Шлёт привет. Я — как ружьё кремнёвое. Сегодня еду в Коминтерн, надо там локализовать слухи. Ну, как будто всё. Несмотря на то, что очень спешу — опоздал и так. Сейчас 10 часов, и надо мчаться во все концы. Что нового вообще в Вёшках? Я страшно горюю, мне опять не пришлось видеть весну. Проклятые поездки! Мне так хотелось попасть вовремя***** ... Ну, будь здорова, дорогая, не скучай, дни эти пролетят, как сон. Пиши. Обо мне не забывай. Тут мне ещё больше нужна была бы твоя поддержка и ласка. Я утешаюсь тем, что за 1000 вёрст

* Брат матери — Иван Петрович Громославский.

** Ольхи и камыш — материал для строившегося тогда сарая. Ледник набивался льдом, который кололи и привозили с Дона.

*** Вёшенский врач, приятель отца. В числе других евреев был расстрелян фашистами в г. Каменске.

**** В.М. Кудашев.

***** Убеждён, что любой непредвзятый и непредубеждённый читатель здесь невольно подумает: нет, не мог бы человек, уличённый в преступлении, перед нависшей над ним угрозой разоблачения столь легко и бездумно перескакивать с разговора о плагиате к таким будничным мелочам, как детские платяца, собаки, стройматериалы для сарая, ледник..

Как рано зависти привлёк он взор кровавый...

дорогой мне — самый дорогой! — человек горюет и радуется со мной и живёт со мной в мыслях, как и я с этим самым человечком. Целую, целую!...»

«Тихий Дон», — вспоминала то время Е. Г. Левицкая, — сперва появился в журнале «Октябрь», а затем вышел в конце 1928 г. отдельной книгой... Боже мой, какая поднялась вакханалия клеветы и измышлений по поводу «Тихого Дона» и по адресу автора! С серьёзными лицами, таинственно понижая голос, люди, как будто бы вполне «приличные» — писатели, критики, — не говоря уж об обывательской публике, — передавали «достоверные» истории: Шолохов, мол, украл рукопись у какого-то белого офицера; мать офицера, по одной версии, приходила в газету «Правда» или в ЦК, или в РАПП — и просила защиты прав её сына, написавшего такую замечательную книгу... На всех литературных перекрёстках чернили и клеветали автора «Тихого Дона». Бедный автор, которому в 1928 г. едва исполнилось 23 года. Сколько нужно было мужества, сколько уверенности в своей силе и в своём писательском таланте, чтобы стойко переносить все пошлости, все ехидные советы и «дружеские» указания «маститых» писателей. Я однажды добралась до одного такого «маститого» — это оказался Березовский, который глубокомысленно изрёк: «Я старый писатель, но такой книги, как «Тихий Дон», не мог бы написать... Разве можно поверить, что в 23 года, не имея никакого образования, человек мог написать такую глубокую, такую психологически правдивую книгу... Что-то неладно!»*

К нам, в книжную консультацию издательства «Московский рабочий», посыпались письма и запросы — кто такой автор «Тихого Дона», сколько ему лет, кто он родом и пр.

Конечно, никто из окружавших М. А. близких людей не придавал значения всей этой клеветнической шумихе... Дело дошло до необходимости группе писателей (Серафимович, Фадеев, Ставский, др.) выступить с резким письмом в редакцию, клеймя позором травлю молодого советского писателя.

Чем же объясняется эта писательская травля молодого автора? Когда я вспоминаю то громадное впечатление, которое производил «Тихий Дон» на широкие массы читателей, мне думается, что всех поразило мастерство, сила, необыкновенная способность показать душу самых различных людей — всё то, что зачастую отсутствовало у многих писателей. Здесь была общечеловеческая зависть, желание унижить, загрязнить чистую радость творчества. Все мои попытки добраться до источника приводили либо к писателю, либо к издателю».

Надо сказать, что «Тихий Дон» заставил тогда удивляться и саму Евгению Григорьевну: «Перечитывая много раз «Тихий Дон», — писала она в своих воспоминаниях, — я вновь и вновь поражалась силе и тонкости понимания самых сокровенных глубин человеческого сердца. Откуда этот юноша мог понять и Аксинью, и Наталью, и любовь Ани, и мятущуюся душу Григория...»**

* *Березовский Ф. А.* — один из первых редакторов Шолохова и он же один из первых авторов клеветнических измышлений о плагиате. Разумеется, было бы глупо опровергать эти примитивные «аргументы», которые и прийти-то могут лишь в очень «плоскую» голову, с самоуверенностью невежды мнящую, что нет и не может быть головы, способной на большее, чем она сама. Интересно лишь то, что нынешние клеветники сами «сплагатничали» эти «аргументы» и повторяют их, с маниакальным упорством не желая замечать, что они опровергаются самой историей творческой — литературно-художественной, научной и изобретательской — мысли, показывающей, что множество наиболее выдающихся свершений её достигнуто людьми «непростительно» молодыми. Что же касается образования... Первое, что здесь приходит на ум, это вполне резонное сомнение Саши Черного: «Ослу образование дали. Он стал умней? Едва ли».

** Знамя. 1987. № 16. С. 181.

Хотя немного дальше сама же это частично и объясняет: «С Игорем**** у них удивительные отношения. Он очень ценит его мнение о «Тихом Доне» и вообще относится с уважением; но на моё замечание, что они почти одних лет, сказал: «Да я в отцы ему гожусь по количеству пережитого... Ведь я с 15 лет самостоятельный человек... В моей жизни бывали такие переплёты, что, если бы начать рассказывать...» И я чувствовала, что этот 25-летний парень действительно имеет за плечами много пережитого.

В шатаниях Григория есть, безусловно, много автобиографического».

И в другом месте:

«С какого года вы в партии? — однажды спросили Михаила Александровича.

— С 1903-го.

— А вы когда родились?

Он засмеялся:

— В 1905.

— Удивительно! Откуда же вы всё это знаете?

Михаил Александрович улыбался.

Странная у него улыбка, какая-то привычная. Иногда рассказывает что-нибудь — жуткое и тяжёлое — и улыбается.

— Вы не смотрите, что я улыбаюсь — это у меня привычка. А говорю я серьёзно...

Крутой лоб, упрямо наморщенные брови — когда не улыбается, всегда сдвинуты они — глубокие морщины залегли между ними. Точно это не молодой парень 25 лет, а много испытывавший, много перестрадавший, совершенно зрелый человек».

И, хорошо зная всю ту неприглядную возню, которая велась вокруг имени отца, Е. Г. Левицкая с доброй человеческой озабоченностью и участием задавалась вопросом:

«Какова будущность его? Каким он выйдет из переживаемого им сейчас кризиса? Страшно становится за возможность его отхода. Такая огромная сила, такой необычный талант»**.

И ещё о том же самом в воспоминаниях о поездке в Вёшенскую в 1930. г.:

«Невольно, смотря на М. А., думалось, нет ли некоторых автобиографических чёрточек в Григории, в его сомнениях, исканиях и шатаниях. И придёт ли он когда-нибудь совсем, совсем к нам? Много бы я дала за это, и никаких трудов не надо жалеть, чтобы крепче связать его с нами, дать твёрдую опору, заставить чувствовать его своим, а не травить, как делают это враги, и, что ещё хуже, так называемые «друзья товарищи», «проклятые братья писатели», как горько жаловался он однажды в письме. Я ничуть не сомневаюсь, что, кроме меня и Игоря, нет ни одного человека, так близко заинтересованного в дальнейшем развитии его писательской карьеры»***.

Насколько туго затягивался в то время узел сплетен и клеветы вокруг имени М. А. Шолохова, хорошо видно из его писем к Е. Г. Левицкой. Я приведу здесь некоторые из них, поскольку до сих пор они остаются мало кому известными.****

«Вёшенская, 14 октября 1929 г.

Молчание моё объясняется моим отсутствием. Был в Каменской (вторично), оттуда поехал в Ростов и вот только вернулся. На меня свалилось очередное «несчастье»... Один литературный подлец (это мягко выражаясь), сотрудник краевой комсомольской газеты «Большевицкая смена», летом был в Вёшках, собрал сплетни, связав с моим именем, и после пильняковского дела выступил в газете с сенсационным

*Сын Е. Г. Левицкой.

** Знамя. 1987. № 16. С. 181.

*** С кровью и потом. Незвестные страницы из жизни М. А. Шолохова. Ростов н/Д, 1991. С. 145.

**** Письма даются по публикации Л. Колодного в журнале: Знамя. 1987. № 10.

Как рано зависти привлёк он взор кровавый...

разоблачением по моему адресу. «Факты», которые он приводит, ни в коей мере не соответствуют действительности. Будучи в Вёшках, он не потрудился их проверить хотя бы в Райкоме партии или в Райисполкоме (моя жизнь для них как на ладони) и «kozyрнул». Тошно говорить обо всём этом... Из-за этого бросил работу, поехал в Ростов... Я потребовал расследования этого дела. Правда на моей стороне! Но в данный момент важно не это: меня сознательно и грязно оклеветали в печати, мне не дали высказаться и разъяснить читателю сущность этого дела... Евгения Григорьевна! С меня хватит! Мало того, что весной мне приклеивали ярлык вора, теперь без моего желания и ведома, меня хотят перебросить в чужой лагерь, меня паруют с Пильняком и печатают заведомо ложные вещи. Да ведь всему же есть предел! Откуда у меня могут быть гарантии, что через неделю с таким же правом и с такой же ответственностью не появится ещё одна статья, которая будет утверждать, что я бывший каратель или ещё что-либо в этом духе; и мне снова придётся надолго бросать работу и ехать, бегать по учреждениям, редакциям; доказывать, что я подлинно не верблюд. Крепя сердце, я берусь за перо, но о какой же работе может идти речь? Со дня на день ждут товарища из Ростова (члену крайкома Макарьеву, скапповцу*, поручили расследовать эту чертовщину), его всё нет, а грязный ком пухнет, как и тогда, весной, а сплетня гуляет по краю и, может быть, проникла уже в Москву.

Вы не думайте, что я жалуясь, нет, мне хочется рассказать Вам про обстановку, в какой мне велено дописывать третью книгу**. Я зол, чтобы жаловаться и искать утешения. Да и с какого пятерика я должен быть мягким? Мало на меня вылили помой, да ещё столько ли выльют? Ого! Давайте бросим про это. У меня так накипело и такие ядрёные слова просятся с губ, что лучше уж замолчать мне.

Как живёте Вы? Валя-то, Валя здорова? Про Игоря спрашивать нечего, он должен быть здоров. Где Маргарита? А дедушка? Всем вам шлю искренний привет. При мысли о вашей семье только и отдыхаю душой, а то ведь столько у меня развелось «доброжелателей», что не продохнёшь. Писал под горячую минуту, надо бы перечитать, да тогда и не пошлю письмо, а вновь писать об этом в «эпических» тонах едва ли сумею. Не обессудьте, коли что не так... У меня ещё помимо всех этих неприятностей семейная нерадость — больна малярией дочь. Устали — ужас! Я переболел, а теперь она. Всё как-то не клеится, да не варится... Наконец, хочется сказать, как говорят станичники: «Жизня, жизнь, когда же ты похужеешь?»***

И ещё одно письмо. Хотя первая часть его к вопросу о сплетнях и клевете отношения и не имеет, но, поскольку к истории создания «Тихого Дона» я ещё надеюсь вернуться, приведу его полностью.

«Вёшенская, 2 апреля 1930 г.

Дорогая Евгения Григорьевна!

Одновременно с Вашим первым письмом получил я письмо от Фадеева по поводу 6-ой части. Под свежим впечатлением написал Вам два письма и оба уничтожил, а Вам послал телеграмму. Теперь, когда «страсти улеглись», хочу потолковать с Вами по поводу 6 части «Дона» и относительно андреевского письма Голоушеву.

Прежде всего: Фадеев предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня

* Член Северо-Кавказской Ассоциации Пролетарских Писателей.

** «Велено» очевидно, было Евгенией Григорьевной в письме, на которое отец отвечает, и где она к тому же советует отцу быть «помягче».

*** Валя — приёмная дочь Е. Г., родители которой — М. Лашевич (бывш. начальник КВЖД) и его жена, были репрессированы и погибли. Маргарита — дочь Е. Г. Дедушка — брат Е. Г., Я. Г. Френкель.

неприемлемы никак. Он говорит, ежели я не сделаю Григория своим, то роман не может быть напечатан. А Вы знаете, как я мыслил конец III книги*. Делать Григория окончательно большевиком я не могу. Лавры Кибальчича меня не смущают. Об этом я написал и Фадееву. Что касается других исправлений (по 6 части) — я не возражаю, но делать всю вещь — и, главное, конец — так, как кому-то хочется, я не стану. Заявляю это категорически. Я предпочту лучше совсем не печатать, нежели делать это помимо своего желания, в ущерб и роману, и себе. Вот так я ставлю вопрос. И пусть Фадеев (он же «вождь» теперь) не доказывает мне, что «закон художественного произведения требует такого конца, иначе роман будет объективно реакционным». Это — не закон. Тон его письма безапелляционен. А я не хочу, чтобы со мной говорили подобным тоном, и ежели все они (актив РАППа) будут в таком духе обсуждать со мной вопросы, связанные с концом книги, то не лучше ли вообще не обсуждать. Я предпочитаю последнее.

Вы поймите, дорогая Евгения Григорьевна, что рот зажать мне легче всего. Тогда только нужно по-честному сказать: «Брось, Шолохов, не пиши. Твоё творчество нам не только не нужно, но и вредно». А то в одном месте Фадеев говорит буквально следующее: «Ежели Григория теперь помирить с Советской властью, то это будет фальшиво и неоправданно». В конце же твёрдо советует: «Сделай его своим, иначе роман угроблен». Советовать, оказывается, легче всего... Если ко всему этому добавить новый поход против меня, который уже ведётся в Москве после выхода из печати «Реквиема памяти Андреева», да и до выхода его, то у меня создаётся вновь такая же обстановка, как осенью прошлого года. А Вам должно быть понятно, как такая обстановка «способствует» работе.

У меня убийственное настроение сейчас. Если я и работаю, то основным двигателем служит не хорошее «святое» желание творить, а голое упрямство — доказать, убедить...

Прекрасный «двигатель», не правда ли? У меня не было более худшего настроения никогда. Я серьёзно боюсь за свою дальнейшую литературную участь. Если за время опубликования «Тихого Дона» против меня сумели создать три крупных дела («старушка», «кулацкий защитник», Голоушев) и всё время вокруг моего имени плелись грязные и гнусные слухи, то у меня возникает законное опасение: «А что же дальше?» Если я и допишу «Тихий Дон», то не при поддержке проклятых «братьев» — писателей и литературной общественности, а вопреки их стараниям всячески повредить мне. Небольшое количество таких друзей, как Вы, только резче подчёркивает «окраску» остальных. Ну, чёрт с ними! А я всё ж таки допишу «Тихий Дон»! И допишу так, как я его задумал. Теперь много рук тянется «исправлять» и покровительственно трепать меня по плечу, а когда я болел над «Доном» и попрашивал помощи, большинство этих рук отказались поддержать меня хоть немного.** Приеду — расскажу Вам о недавнем прошлом. О чём не хотелось говорить раньше.

Работаю над 7 частью. В мае буду в Москве. Тогда прочтёте конец, прочтут и мои хозяева, и уже окончательно попытаюсь договориться. Согласятся печатать — хорошо, рад буду. А нет — не надо. На «нет» ведь и суда нет. Получаю письма

* Частично об этом см. «С кровью и потом». С. 145, 175.

** По воспоминаниям отца мне хорошо известна та помощь, которую он «попрашивал» у «братьев-писателей», во-первых, — вслух подтвердить правильность и правдивость описания в «Тихом Доне» Вёшенского восстания. И во-вторых, — помочь обрести доступ к необходимому ему для работы секретным тогда архивам. Сделать это было вполне под силу целому ряду писателей, «фруливших» РАППом и очень близко, — на дружеской, а то и на родственной «ноге» стоявших к ЦК партии и руководству ОГПУ. Если бы, конечно, не страх за собственное благополучие, который, кстати, отец прекрасно понимал, и никогда не обижался на тех, кто отказывался с ним «сотрудничать». И только Е. Г. Левицкая, работавшая тогда зав. библиотекой МК ВКП(б), используя свои связи, помогала отцу знакомиться с материалами «о белом движении» на Дону.

Как рано зависти привлёк он взор кровавый...

от читателей по поводу истории с Голоушевым. Уже есть 3. Одно — хорошее, а 2 с неприкрытой иронией. Ну, что же, видно, большое лихо сделал я тем, кто старается меня опоганить. Написал Серафимовичу... Не обессудьте за «нытьё». Нехорошо мне и тяжело до края.

Ну, будьте здоровы. Не забывайте...»

Хотя письмо Серафимовичу, о котором упоминает отец, более известно, хотелось бы заодно напомнить и о нём.

«...Мне очень хочется поделиться моими новыми «радостями». Вам уже, наверное, известно, что 6 часть «Тихого Дона» печатать не будут, и Фадеев (он прислал мне на днях письмо) предлагает мне такие исправления, которые для меня никак неприемлемы...

А вторая «радость» — «новое дело», уже начатое против меня. Я получил ряд писем от ребят из Москвы и от читателей, в которых меня запрашивают и ставят в известность, что вновь ходят слухи о том, что я украл «Тихий Дон» у критика Голоушева — друга Л. Андреева, и будто неоспоримые доказательства тому в книге-реквиеме памяти Л. Андреева, сочинённой его близкими. На днях получаю книгу эту и письмо от Е. Г. Левицкой. Там подлинно есть такое место в письме Андреева Голоушеву, где он говорит, что забраковал его «Тихий Дон». «Тихим Доном» Голоушев — на моё горе и беду — назвал свои путевые заметки и бытовые очерки, где основное внимание (судя по письму) уделено политическим настроениям донцов в 17 г.* Это и дало повод моим многочисленным «друзьям» поднять против меня новую кампанию клеветы. И они «раздуют кадило», я глубочайше убеждён в этом!

Что мне делать, Александр Серафимович? Мне крепко надоело быть «вором». На меня и так много грязи вылили. И тут для всех клеветников — удачный момент. Третью книгу моего «Тихого Дона» не печатают. Это даёт им (клеветникам) повод говорить: вот, мол, писал, пока кормился Голоушевым, а потом и «иссяк родник»...

Горячая пора у меня сейчас, кончаю третью книгу, а работе такая обстановка не способствует. У меня руки отваливаются, и становится до смерти нехорошо. За какое лихо на меня в третий раз ополчаются братья писатели? Ведь это же всё идёт из литературных кругов. Я прошу Вашего совета: что мне делать? И надо ли доказывать мне, и как доказывать, что мой «Тихий Дон» — мой?

Вы были близки с Андреевым, наверное, знаете и С. Голоушева. Может быть, он — если это вообще надо — может выступить с опровержением этих слухов? И жив ли он? Прошу Вас, не помедлите с ответом мне! Напишите поскорее, если можно».**

Решившись в своё время писать воспоминания об отце, обдумывая их возможное содержание, я сразу же сказал себе, что никаким образом не стану даже касаться каких бы то ни было клеветнических измышлений, которые плелись вокруг его имени всю его жизнь. И в первую очередь — измышлений о плагиате.

Во-первых, потому что, говоря об этом, нужно брать на себя какую-то, я бы сказал, глуповатую роль защитника отца. Но я считаю, что писатель, за которого говорит всё его творчество, он не нуждается ни в чьей защите. Защищать его перед кем? Достаточно обладать элементарным чувством родного языка и хоть сколько-нибудь

* «...С. С. Голоушев, — писал о нём Серафимович, — это врач-гинеколог по профессии, литератор и критик по призванию. Милейший человек, отличный рассказчик в обществе друзей, но, увы, весьма посредственный писатель. Самым крупным трудом его был текст к иллюстрированному изданию «Художественная галерея Третьяковых». Менее подходящего «претендента» на шолоховский «Тихий Дон» было трудно придумать».

** Цит. по: Осипов В. Дополнение к трём биографиям. М., 1977.

развитым литературным вкусом, да более того, достаточно быть просто вдумчивым, по-настоящему увлечённым литературой читателем (не задуроченным никакими заумными литературоведческими и графотекстологическими теориями), чтобы без чьей бы то ни было подсказки понимать: вся эта нескончаемая болтовня о плагиате не имеет никакого отношения к литературе и диктуется мотивами и интересами, лежащими далеко за её пределами. Следовательно, перед этой частью читателей любое выступление в защиту Шолохова настолько же излишне, насколько пустословно всякое разъяснение того, что и без разъяснений ясно.

Защищать его перед сомневающимися? Неблагодарная задача, ибо сомневающийся — это человек, не способный выработать собственного мнения, не имеющий его, а потому и вынужденный лишь соглашаться или не соглашаться со мнением других. А раз так, то если кому-то и удастся убедить его в правоте своего мнения, то уже через минуту он может «перестроиться», едва лишь появится достаточно велемечивый пропагандист иного (и даже прямо противоположного) мнения. Такому человеку никто и ничто не может помочь в разрешении его сомнений, кроме него самого, кроме его способности и желания обрести достаточно широкую эрудицию и достаточную глубину знаний, позволяющих иметь собственное (разумеется, совсем не обязательно оригинальное) мнение, основанное не на слепой доверчивости к разглагольствованиям других, а на самой сути дела.

Тогда, перед кем же? Уж не перед теми ли, кто сознательно берётся пережёвывать старые и распространять новые — один другого нелепее — слухи? Но это уже не те люди, перед которыми можно было бы защищать, а те, от кого следует защищать. В свою очередь, это означает: не защищать Шолохова, а вступать в нескончаемый спор с теми, с кем спорить, как говорил Чехов, всё равно, что стараться перекричать злую бабу.

Как правило, это люди, чьи творческие, извините, потенции не идут дальше способности «светиться отраженным светом» и, если ограничиться областью литературы, то более грубо, но и более точно говоря, — дальше способности кое-как паразитировать на творчестве других. Такого рода споры — это и их хлеб, и их конёк. Именно о таких околотитулярных спорщиках отец говорил, бывало: «Не надо их трогать. В спорах у них рождается гонорар. Все мы люди. Жить-то ведь как-то нужно!»*

Для тех, у кого измышления и инсинуации — дело жизни, а «онаучивание» их (с целью придать им правдоподобный вид) и попытки любую заумь выдать за ум — профессия, для них всякий аргумент оказывается лишь дополнительным поводом к новым нападкам. «Не печатай, пожалуйста, опровержений, — настоятельно советовал А. П. Чехов своему брату. — Ведь опровергать газетчиков всё равно, что дергать чёрта за хвост... И шумли, особенно одесские, нарочно будут задирать тебя, чтобы ты только присылал им опровержения».** «Не надо даже читать их статей, — ещё

* Рассказывают, правда, что когда один из подобных деятелей, оправдываясь перед Наполеоном, выдвинул этот аргумент — жить-то ведь как-то нужно, — не привыкший церемониться император отрезал: «Не вижу в том никакой необходимости». Слава Богу, конечно, что минули времена императоров. Тем не менее задумываться — а зачем, собственно, таких деятелей терпят в сферах, где они, принося непоправимый вред, не приносят даже той пользы, каковая именуется сомнительной, — задумываться над этим приходится.

** Чехов А. П. Собр. соч. Т. 12. М., 1957. С. 394.

*** В одной из работ об отце мне довелось прочитать, что в 1929 г. по инициативе руководства РАПП была создана специальная комиссия, которая, проведя расследование, должна была дать заключение по поводу обвинений Шолохова в плагиате. Насколько мне известно из рассказов отца, это не соответствует действительности в той части, что руководство РАПП всячески игнорировало настоятельные просьбы отца о создании такой комиссии. Все члены правления РАПП, разумеется, прямо не отказывали, но и ничего не делали, мотивируя своё нежелание самым благовидным предлогом: «Мы тебя знаем, в оправданиях ты не нуждаешься, так зачем же и связываться с откровенными

(см. на след стр.)

Как рано зависти привлёк он взор кровавый...

категоричнее говорил он. — Это же дружеская литература... литература приятелей. Её сочиняют господа Чернов, Белов и Краснов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем всё это нужно читателю — никто из них себя и не спрашивает».

Это всё — несколько затянувшееся «во-первых», почему мне не хотелось касаться упомянутой темы.

Во-вторых же, мне трудно отвлечься от отношения к этому самого отца.

После выхода в Париже, ставшего ныне широко известным псевдонаучного сочинения «Д», к отцу обращался целый ряд литературоведов и писателей, испрашивая его согласия на то, чтобы дать ответ сочинителям. Всем им он ответил отказом.

«Тебе что, делать больше нечего? — посмеиваясь, при мне говорил он К. И. Прийме. — Ну, что вас так и тянет «потешить языка бранчливую свербежь»? Нельзя же ведь, право, позволять всякому пройдохе втравливать себя в заведомо бессмысленные споры. Ты же не стал бы на полном серьёзе доказывать фантасту, пишущему о жизни на Марсе, что жизни там нет? Тебе ведь не надо объяснять, что фантастика и наука — разные «жанры»? Сказка от этого не пострадает, а тебя за дурачка сочтут, за «учёного соседа».

Помню, в то время и я обращался к нему:

— Ну, почему ты так равнодушен к этому!

— Равнодушен? — с оттенком некоторого недоумения (не ослышался ли?) переспросил отец. — Равнодушен, говоришь. — Посмотрел на меня глазами так и говорящими: «Ты мне казался умнее...» — Да нет, сынок. Равнодушным к таким фокусам человек не может оставаться. Если он человек, конечно. Только... — он как-то беспомощно развёл в стороны кисти рук. — Когда подобное случается впервые, воспринимаешь это, как такую нелепицу, которая ничего, кроме снисходительной улыбки, и вызвать не может. Кажется, и все, знающие тебя и не знающие, но хоть что-то смыслящие в литературе, рассмеются сейчас вместе с тобой прямо в глаза злопыхателям, и всё раз и навсегда станет на свои места. Дальше — само собой возникает желание оправдаться, разъяснить, спросить тех, кто всё отлично понимает: «Да вы что же это, братцы? Не знаете, как это называется?»

По молодости да по глупости я так и делал. И спрашивал, и оправдывался, как мог. Продолжаешь ведь верить, что всё это — результат каких-то досадных недоразумений, ошибок, добросовестных заблуждений. А когда это и в третий, и в четвёртый, и на протяжении всей жизни... Да когда ещё узнаешь тот сорт людишек, от кого это исходит... Я просто привык ко всему этому, сынок. — Отец невесело усмехнулся, помолчал. — При демократии ведь любой талантишко, уважая равенство и братство, должен сам себя подвергать добровольному остракизму. Ну, что ты так на меня смотришь? Это не я, это Пушкин сказал. Не слышал? Что ж, это плохо, сын мой. Пушкина даже таким высокообразованным биологам-философам* не мешает знать. — Уходя в какие-то свои воспоминания, он глубоко задумался. — Давно ещё, «в те

клеветниками». Не найдя никакой поддержки среди тех «братьев-писателей», которые имели литературный авторитет, и вес, достаточные для того, чтобы расставить все точки над «и», отец вынужден был обратиться в «Правду», и только тогда под председательством Марии Ильиничны Ульяновой, бывшей членом редколлегии и ответственным секретарем газеты, была создана комиссия в составе Серафимовича, Фадеева, Авербаха, Ставского, Киришона, которая и выступила впоследствии с опровержением клеветы («Правда» от 29.03.1929 г.). «Целый чемодан рукописей в Москву возил, — рассказывал отец. — Здоровенный такой, фанерный чемоданище специально для этой надобности пришлось тогда купить».

* По образованию я биолог. Но после окончания МГУ увлёкся философией, закончил аспирантуру и стал преподавателем философии Ростовского университета. Отец в связи с этим шуточно называл меня философом от биологии. А когда меня перевели на работу в Ростовский факультет Академии МВД СССР, он тут же в письме ко мне потребовал разъяснения: «Как же мне, Михаил Михайлович, Вас теперь называть — философом от милиции, или лучше — милиционером от философии?»

баснословные года», когда так хорошо верилось в демократию, прочитал я это у него. До сих пор помнится впечатление, какое на меня произвели тогда его рассуждения о демократии. Ну, да это я — так. Вспомнилось невзначай... Нет, сынок, я далеко не равнодушен, как ты полагаешь. Отнюдь. Просто я не настолько дурак, чтобы не понимать — спорить с этими друзьями бесполезно. Никакая логика, никакие доводы и аргументы здесь не помощники. Потому как истина их совершенно не интересует. Точнее, интересует их вовсе не истина, а кое-что в корне от неё отличное. Что такое ложь? Клевета? — Обращаясь не ко мне, а как бы к самому себе, в раздумчивости задавая вопрос, отец тут же на него и ответил: — Это целенаправленное игнорирование одних фактов (тех, которые невыгодны) и такое же, сознательное, искажение в свою пользу других. То есть это сознательное извращение фактов, игнорирование (сознательное) всякой логики и здравого смысла, — отец интонацией жёстко подчеркнул слова «целенаправленно», «сознательно». — Поэтому и факты их интересуют лишь постольку, поскольку они служат готовым материалом для их упражнений. А поэтому же самому, опровергнешь одного, тут же, как чирей на нездоровой коже, там, где и не ждёшь, выскочит другой. Опровергнешь одно, тут же придумают что-нибудь другое. Остаётся единственное: плюнуть и, как мой отец говорил, — ноль внимания и фунт презрения. — Как бы подбадривая меня и приглашая сделать то же самое, он улыбнулся. — Что мы с тобой и делаем. Верно?.. А потом, ты что же, не видишь, сколько вокруг твоего отца людей кормится? — Отец как-то грустно задумался. — Это, как ты понимаешь, не бахвальство, а сплошная грусть-тоска. — Он помолчал, потом снова улыбнулся. — Ты знаешь, кто такие «мамисты»? Эх, ты, — и шутливо-укоризненно покачал головой, встретив мой недоуменный взгляд. — Это — литературоведы, занимающиеся творчеством Мамина-Сибиряка... Добренькая наша Советская власть. Всем-то она готова позволить зарабатывать себе на хлеб «по способностям». Даже тем, чьи способности, кроме их самих, никому не нужны. Слава Богу, хоть кормить «по потребностям» не может. А то ведь те, у кого единственная способность — удовлетворять свои потребности, уже давно продали бы её с потрохами и пропили-проели.

Вот, благодаря этой её доброте, и выросла у нас целая армия всяких там «...истов» и «...ведов». Практически ни одного более-менее крупного имени не осталось, вокруг которого они бы не роились. И папаша твой удостоился. Ты только взгляни, сколько пишут. И чего только не пишут. И чуть ли не у каждого доброжелателя столько ошибок, столько благоглупостей... Иной раз просто взвять охота: «Избави, Господи, от друзей!..» К врагам-то уж не привыкать.

Так вот, если бы я и им ещё отвечал? Каждому рассказывал, каждого поправлял, каждому разъяснял... Да, милый мой, мне ведь всё тогда надо было бы бросить и только самим собой и заниматься. Ты не находишь, что это скучновато? Допускаю, кому-то это и может нравиться, ну, а мне, вот, — чиркнул он большим пальцем по горлу, — как серпом...»

* * *

И всё-таки однажды, не утерпев, отец отошёл от своей позиции, которой придерживался всю жизнь. Вернее, не отошёл, а хотел отойти.

В 1975 году намечалось широко отметить его семидесятилетний юбилей, о чём заговорили задолго. Ещё месяца за два до юбилейной даты все мы в семье заметили, что отец всё чаще и чаще пребывает «не в своей тарелке». Он стал неразговорчив, меньше стало слышно его шуток. Среди самого, казалось бы, весёлого разговора он вдруг становился сурово-задумчивым, серьёзным, молча поднимался и уходил к себе. По утрам, когда вся семья ещё спала, писал что-то, закрывшись в своём кабинете, после чего надолго оставался каким-то недоступно далёким, целиком ушедшим в себя, пугающе безразличным к происходящему вокруг. Он никому ничего не говорил,

Как рано зависти привлёк он взор кровавый...

с присущей ему «мягкой твердостью» уходил от ответов на беспокойные расспросы матери, и, конечно же, никто из нас и не подозревал, что его состояние было вызвано подготовкой к собственному юбилею.

У меня сохранилась одна-единственная первая страница текста, с каким он хотел выступить на торжественном заседании:

«На юбилейное заседание.

Пришла пора подводить предварительные итоги творческой деятельности. Но за меня это уже сделали в своих статьях родные братья-писатели и дальние родственники, скажем, троюродные братья-критики. Так что, за мною остаётся только слово от автора.

За 50 лет писательской жизни я нажил множество друзей-читателей и изрядное количество врагов. Что же сказать о врагах? У них в арсенале старое, заржавленное оружие: клевета, ложь, злобные вымыслы. Бороться с ними трудно, да и стоит ли? Старая восточная поговорка гласит: «Собаки лают, а всадник едет своим путём». Как это выглядит в жизни, расскажу.

Однажды, в далёкой юности, по делам службы мне пришлось ехать верхом в одну из станиц Верхне-Донского округа. На пути лежала станица, которую надо было проехать. Я припозднился и подъехал к ней в глухую полночь.

В степи была тишина. Только перепелиный бой да скрипучие голоса коростелей в низинах. А как только въехал на станичную улицу, из первой же подворотни выскочила собачонка и с лаем запрыгала вокруг коня. Из соседнего двора появилась вторая. С противоположной стороны улицы, из зажиточного поместья, махнули через забор сразу три лютых кобеля. Пока я проехал квартал, вокруг коня бесновалось с разноголосым лаем уже штук двадцать собак. Конь пошёл более спорым шагом, я выпрямился и подобрал поводья. Ехать стало веселее.

Каждый квартал собаки менялись: одни убежали к своим дворам, другие включались в сопровождение. На базарной площади присоединилась к ним стайка бродячих, бездомных собак. В конце концов, мне надоел этот гам, и я замахнулся плетью. Но что тут произошло, трудно рассказать: собаки шарахнулись в разные стороны, подняли истошный лай, визг, подвывание... Словом, закатали сухую собачью истерику... Пришлось тронуть рысью. Бродячие собаки с почётом провожали меня далеко за станицу.

Заключение, к которому я пришёл в ту ночь, что самые злые собаки — в зажиточных дворах, самые назойливые — бродячие.

Не думал я в ту ночь, что история с собаками повторится через несколько лет, только в другом варианте. В 1928 году, как только вышла первая книга «Тихого Дона», послышался первый клеветнический взбред, а потом и пошло...»

Отцу не довелось не только выступить на юбилейном заседании, но и присутствовать на нём. Инсульт, случившийся за несколько дней до юбилея, надолго уложил его на больничную койку...

Я не жалею, что не сохранилось полного текста этого выступления, хотя не сомневаюсь, познакомиться с ним было бы весьма интересно. Но, даже если бы он и сохранился, я вряд ли стал бы его публиковать, раз уж сам отец впоследствии не счёл нужным его обнародовать. Уже в последний год жизни он как-то сам завёл разговор на эту тему.

«Я ведь отлично понимал, сколько дифирамбов доведётся выслушать, — ровным, спокойным голосом говорил он. — Уже пошли статейки хвалебные, слащавенькие воспоминания. И среди авторов — впереди всех, представляешь? — те, с кого всё и начиналось. И захотелось вдруг, прямо-таки нестерпимо, раздать «всем сестрам по серьгам» и по полной выкладке каждому. Я, конечно, не собирался ни оправдываться, ни обвинять.

Просто вздумалось, как говорится, познакомить широкую публику с мало кому известными фактами из не столь уж отдалённого прошлого. Познакомить с историей вопроса, так сказать. Подумалось, — очень уж поучительно было бы. Правда, под конец я решил — на юбилее говорить об этом не буду, а то ведь сразу же позу пришьют, оригинальничанье. А теперь, полагаю, и хорошо, что не стал этого делать. Уж очень мало приятного выступать затравщиком. Ведь столько имён надо было бы затронуть. И в таком неблагоприятном свете... И без того мне как-то один, далёкий от литературы, человек говорил: «Как посмотрю я кой на кого из вашей братии, так кажется, всю порядочность свою поразили они героям своим положительным, а у самих, если и осталось что, так только-только хватает стыд на людях прикрыть».

И ради чего затеял бы я всё это? Что бы ни думал и чего бы ни хотел, а тут же нашлись бы субчики, на весь свет преподнесли бы это как обыкновеншую, пошлую месть. А наказать бы довелось лишь тех, на кого уже давно у меня ни злости, ни обиды не осталось. Сама жизнёнка-то была...

Помню, на открытии какого-то очередного, как теперь говорят, «форума» входят в зал Сталин, члены Политбюро. Зал, разумеется, встает и — «бурные, продолжительные». Те неторопко проходят за стол президиума, разбредаются по своим местам, но не садятся, тоже стоят все, хлопают. Они хлопают, мы хлопаем. Сталин уже и так, и сяк, ручками, эдак, заканчивать предлагает, приглашает садиться. А мы усердствуем. Ведь это же кому-то первому нужно сесть. А как ты сядешь, когда все стоят? Надо — как все... До сих пор, ну, до того же гадко вспоминать. Честное слово, недругу не пожелаешь в такое дурацкое положение попадать. Не знаю, сколько уж это продолжалось, мне показалось — вечность... Так и в случае со мной. Один брехнёт, другой, третий... Всяк подумает: а вступаться за него или лучше подождать, посмотреть, «как все»?

На меня ведь тогда каких только чертей не валили. И белячок, дескать, Шолохов. И идеолог белого подполья на Дону. И не пролетарский-то он, и не крестьянский даже — певец сытого, зажиточного казачества, подкулачник. Купеческий сынок, на дочке бывшего атамана женат... А это тогда не просто было. Когда о человеке хоть что-то похожее говорить начинали, ему, брат, в Петровку зябко, в Крещение жарко становилось. Такого человека не то, что защищать, а и подходить к нему чересчур близко не каждый отваживался.

Отец надолго замолчал. Видно было, что воспоминания эти не доставляют ему особого удовольствия. Вошёл Анатолий Дмитриевич Соколов, бывший в то время секретарём отца.

— Садись за стол, — пригласил его отец и, видя нерешительность на его лице, указал на стул рядом с собой. — Садись, садись. От тебя у нас секретов нет. Посумуем вместе. Есть будешь? Выпьешь с нами? — Отец посмотрел на него, заметил его заинтересованно-изучающий взгляд, пробежавший по тарелкам, и широко провёл рукой над столом. — Официантов у нас, как тебе известно, нет, так что давай, ухаживай за собой сам. Действуй. А мы с сыном продолжим наш доверительный разговор. Ты поймёшь, о чём речь.

— Да, так вот, сынок, такие вот дела... Говорят, в результате инсульта какие-то там клетки, ткани отмирают. А видишь? Мозгов у твоего старика меньше становится, а мысли более зрелые приходят. Я тогда, перед юбилеем, замкнулся как-то в себе. Неправедные обиды, они ведь дают. «Завёлся», одним словом, как твой братец говорит. А потом подумал, подумал, — нет! Не по мне это, скандалы в благородном семействе учинять.

Тем более, что те, кто заслуживал подобной оплеухи, только ухмыльнулись бы, донельзя довольные, что я им новую пищу дал. Им ведь всё — божья роса. Отряхнулись бы, утерлись и — как с гуся вода — придумали что-нибудь новенькое. Надело

Как рано зависти привлёк он взор кровавый...

когда-то меня в белогвардейщине обвинять, стали — в кулачестве. Надоело в кулачестве, плагиат изобрели. Надоест и плагиат, полезут в постель, бельишко ворошить — это они, как дурачок красное, до самозабвенья любят. Да, Господи Боже ты мой, разве есть что-нибудь на белом свете, перед чем они остановились бы? Когда у людей за душой ничего святого, разве оставят они человеку хоть какой-то уголок жизни, куда постыдились бы вломиться?

Хотя и очень нелегко, но это просто надо пережить. Не завоевывай себе известность, если хочешь этого избежать», — невесело пошутил он под конец.

Хорошо помня этот разговор, нагнавший на меня какую-то злую тоску, я и дал себе зарок не вмешиваться ни в какие споры околотитературных дельцов, в ходе которых они «рожают» друг другу деньги и дешёвую скандальную известность в узком кругу себе подобных. И, тем не менее, под влиянием минуты, не смог удержаться, чтобы не коснуться «истории вопроса». А едва коснёшься этой «истории», на ум сразу же приходят другие, гораздо более общезначимые вопросы, затронуть которые она даёт удобный и основательный повод. Я начну с мысли П. А. Вяземского, высказанной им ещё в 1817 году в статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», где он пишет о зависти и клевете, преследовавших этого малоизвестного ныне литератора:

«Странная и горестная истина! Участь великих мужей, коих слава бывает собственностью народа, зависит часто от малого числа людей, а иногда от одного только лица. Не оттого ли, что благодарность скудна в способах изъясняться, особенно же медленна, а зависть, напротив, богата в средствах, догадлива и никогда не дремлет? И часто первая прерывает своё преступное молчание тогда только, когда поздний голос её тщетно уже раздаться может... Напротив же, первая победа есть для последней решительный знак к действию: неустанно преследует она от успеха к успеху доверчивого любимца славы, как жадный заимодавец, заставляя его расплачиваться при каждом новом праве, приобретённом на уважение отечества, и, таким образом гоняясь до конца за жертвою своею, падает бессильная при надгробном камне, сей священной преграде, бессмертием поставленной её ненасытной вражде».*

Читателям, которые сочтут эту цитату не совсем подходящей к разговору о Шолохове, в достаточной мере вкусившем «благодарности» от официальной критики, хочу пояснить, что в данном случае меня интересует не столько частный случай завистливой клеветы в адрес отца, сколько — лишь связанный здесь с его именем — сам этот феномен, веками сохраняющий статус «странной и горестной истины». Откуда берутся люди, которые делают эту истину непреходящим «достоянием» общества и которые, как грибы-поганки вслед за благодатным дождём, вырастают сразу же вслед за появлением (в любой сфере творческой деятельности) мужа, достойного «уважения отечества» и слава которого оказывается достойной стать «собственностью народа»?

Нет, нет! Я не возьмусь отвечать на этот вопрос, анализируя загадочную, ангельски-сатанинскую, рабски-господскую и проч. психологию человека. Он потому и мучает меня, что я не способен найти на него полностью удовлетворивший бы меня ответ. И в то же время ответ на него представляется мне чрезвычайно важным, поскольку я хорошо вижу цель этих людей, которая, впрочем, очевидна для каждого: имена, ставшие достоянием народа и отечества в «старой» системе ценностей, подменить именами новых, зачастую мнимых и дутых авторитетов.

* Вяземский П. А. Соч. Т. 2. М., 1982. С. 13-14.

Читая эти строки, невольно позавидуешь времени, когда эта пресловутая зависть, столь присущая творческой интеллигенции, падала бессильной хотя бы при надгробном камне. Сегодня он для неё — всего лишь знак того, что её клеветнические нападки, скорее всего, останутся совершенно безнаказанными.

Размышляя обо всём этом, невольно приходишь ещё к одному вопросу: а задумываются ли сами ниспровергатели имён и авторитетов, эти духовные киллеры и профессиональные «перестройщики» в области духа, о результатах и последствиях своей деятельности? Или, по крайней мере, все ли они задумываются над этим?

В том, что заказчики их «поделок», их щедрые наниматели и работодатели прекрасно понимают, что делают, сомневаться не приходится. Тем же, кто в святой простоте своей не ведаёт, что творит, хотел бы напомнить возвышенные слова замечательного русского мыслителя И. Ильина, сказанные им о Родине и гении:

«...Родина есть выстрадавшие нами и открывшиеся нам лики Божии: в молитвах, иконах и храмах; в песнях, поэмах и трагедиях; в созданиях искусства и в подвигах наших святых и героев... Родина — это тот национальный строй и уклад души, который выстрадался и выносился нашим народом в его бытии и в его быту и который незаметно, но неизменно владеет и моею душою — её дыханием и вдохом, и стоном, и жестом, и языком, и пляскою. Родина есть нечто от духа и для духа. И тот, кто не живёт духом, тот не будет иметь Родины; и она останется для него навсегда тёмною загадкой и странною ненужностью...

Но именно поэтому творцы духа суть живые очаги Родины. Назови мне, кто те пророки, гении и герои, перед которыми ты в любви преклоняешься, и я скажу, какого ты духа, и где твоя Родина... Ибо ты любишь их и преклоняешься перед ними потому, что они облегчили тебе бремя твоей жизни, показали тебе путь к устройению твоей души, дали тебе утешение, дали тебе радость <...> через них ты утвердил себя, свою личность, свой дух и свой характер; и потому — знаешь ты о том или не знаешь — они твои пастыри и учителя, создавшие твою Родину и указавшие её тебе.

...И народы искони понимали это, связывая своё бытие и своё национальное и государственное самоутверждение с культом своих великих предков, героев и святых...

Вот почему правы мудрецы, утверждавшие, что народ и его герои — суть одно».

А вот об этом же — слова ещё одного выдающегося русского ученого.

«...Политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной... Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятниками деятелей, внёсших наибольшее количество добра в своё общество. С этими памятниками и памятниками срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга <...> Творя память этих великих предков и их дел <...>, мы проверяем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведённые в нём траты <...> С угасанием исторической памяти народа запас этот не пополняется и растрачивается «без остатка»,* — так писал Василий Осипович Ключевский.

Подобного рода мысли не оставляют в покое и наших современников, и вполне понятно, почему в суждениях своих они оказываются ещё более резкими.

Так, например, в статье «Жизнь во лжи» (Слово. 1999. № 1) А. Ларионов пишет: «...С древних времён признано, что крушение кумиров влечёт за собой не только крушение империй, но и самого человека, человека на всех ступенях общества, вплоть до самой низшей социальной ступени».

Справедливость и точность всех этих мыслей настолько очевидны, что не требуют никаких комментариев, кроме разве что одного краткого резюме: великие мёртвые, память о которых хранит народ, всегда указывают путь живым; живые же без этих

* Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1991. С. 75-76.

духовных маяков если и не мертвы, то мертвенно безразличны и беспомощны при ориентации в житейском океане.

Именно поэтому искусство с его колдовской способностью оживлять прошлое, и тем самым оказывать огромное влияние на настоящее и будущее, всегда было и будет одной из главных арен политической борьбы. А имена художников, под кистью которых традиции народа предстают наиболее живыми, всегда были и будут объектом нападков со стороны политиканствующих культуртрегеров всех мастей и их бездумных прислужников.

Это прекрасно понимали мыслящие люди всех времён и народов.

Напомню лишь двух российских.

«Государственное правило, — писал Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному».

То есть воспитание уважения к прошлому, к предкам и их славе Карамзин возводил в ранг государственной политики.

«Уважение к именам, освящённым славою, есть... первый признак ума просвещённого, — вторил ему Пушкин. — Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда по указу эфоров одним хиосским жителям дозволено было пакостить».* И, наоборот, лишь «дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим». А «невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком и слепое пристрастие к новизне» он считал характерными лишь для «истинных представителей полупросвещения».

С учётом сказанного выше уже не покажутся чрезмерным преувеличением строки поэта В. Фирсова:

*Россия в почётном стоит карауле,
Успев на века постареть.
Россия не верит, что Шолохов умер.
А если поверит, что Шолохов умер,
То, значит, и ей суждено умереть.*

Конечно же, всякий понимает, что это всё-таки — поэзия. Россия, безусловно, не умрёт вместе с Шолоховым, как не умерла она с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским... Но точно так же каждый должен понимать: Россия Пушкина, Гоголя, Толстого... и Шолохова (которых справедливо ставят в один ряд) — это одно. А Россия Солженицына, Бродского, Войновича и пр. — это нечто иное. И может быть, даже уже и не Россия вовсе.

Найдутся умники, которые если и не скажут вслух, то подумают: «Ну, и хорошо!» Не стану с ними спорить. Я никого не хочу ни обидеть, ни возвысить, ни унижить друг перед другом. Я просто констатирую факт и надеюсь на понимание.

* У нас, как известно, вместо указа эфоров существует «свобода слова», которая не только «ветреному невежеству», но и продажному полупросвещению, и злобствующей высокообразованности, и всем, кому не лень, позволяет «всенародно пакостить» в адрес российского прошлого, где, когда и сколько

Борис Примеров



ПЛЕНЁННЫЙ НЕЧАЯННЫМ СВЕТОМ

Пленённый нечаянным светом,
Зелёной травой заточён,
Твоим я останусь поэтом,
Любовь воскрешённых времён.

Пройдусь по ветрам, по тропинкам,
Войду в вечера, в ковыли...
И всем расскажу – без запинки –
Всю заповедь здешней земли.

Сольюсь с непонятым и прежним,
С досель непослушным сольюсь
И буду ласкать тебя песней, –
Как думу, как душу,
как Русь.

Любимой воскресшее имя,
Пролейся теплом через край!
Пусть жаворонками густыми
Наполнится свадебный май.

Примеров Борис Теретьевич – известный донской поэт, член Союза писателей СССР, автор нескольких поэтических сборников. Последние годы жизни проживал в Москве.

Пленённый нечаянным светом

Свет свадебный, подвенечный,
Свет ясной, глазастой молвы.
И это почти бесконечно,
Как на сердце
шелест травы.

Каждому своё земное небо
С розовой избушкой соловья,
Кроме золотой краюхи хлеба
И ручного, верного ручья. –

Чтобы слушать, как желтеют травы,
В каждую травиночку войдя
Бесконечной, зыбкой и усталой
Маленькою капелькой дождя.

Надо мною вечность, бесконечность...
Подо мною добрая земля,
Тихая, спокойная, как вечер,
Думами похожа на меня.

Понимаю, что... не понимаю
Чувства старых, пожелтевших трав, –
Потому что я родился в мае,
Всё в себя зелёное вобрав.

Звёзды зажигаются над всеми;
Каждой – свой кочующий причал.
Прибывает, убывает время –
Светлое начало всех начал.

До последней далеко страницы,
Потому в избушке соловья
Закрывают чуткие ресницы
За вечер уставшие слова.

Разнорабочим я работал, –
Ладони обжигал металл.
Как хлебу, каждой капле пота
Я цену собственную знал.
Красна цена работе жаркой,

Когда в зияющую пасть
Печи
Бросаешь ты грабаркой
Метизы. –
Только б не упасть!
Когда, перелопатив тонны,
Колебя утро в полумгле,
Ступаешь, будто по наклонной,
По ровной, стоптанной земле.
Ступаешь среди домов-громадин –
Окончена работа в срок –
И чувствуешь, как он прохладен,
Вишнёвого рассвета сок...

От земли оттолкнётся в небо
Голубая большая звезда,
И присядет ночная небыль,
Словно лебедь, на край пруда.

Выйдет сказочная деревня
В невысокой короне огней,
Выйдет на берег, как царевна
Из-за тридевяти морей.

Ах, царевна, ты – правда, царевна?..
Может, это лишь только сны;
Может, это идут сквозь деревья
Невозвратного мира дни?

Может, это поют копыта
За седыми ветрами в пыли,
Может, это бушует избыток
Настоящей крестьянской земли?..

Люди видели, как сквозь ёлки,
Где взошла голубая звезда,
Кто-то ехал на сером волке
В дорогое, земное *туда*...

Павел Шестаков



НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Роман-эссе
(Фрагменты)

В минувшем году исполнилось 80 лет со дня рождения Павла Александровича Шестакова, члена Союза писателей СССР, Союза российских писателей, заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата премии советского разведчика Николая Кузнецова. К этой дате издательство «Донской писатель» приурочило выпуск повести П. Шестакова «Всего четверть века», которая 30 лет была доступна читателям только в журнальном варианте. В 2013 году издательство намерено дать книжную жизнь ещё одной рукописи Павла Александровича – незавершённому роману-эссе «Неизбежность». Подготовку текста к печати взял на себя друг покойного писателя Николай Скрёбов. Вот что он рассказал об этом произведении:

– К осуществлению крупного замысла Павел Шестаков приступил в 1968 году. Если бы он продолжил работу, не откладывая свой главный роман под натиском разных обстоятельств, это произведение увидело бы свет при жизни писателя и не нуждалось бы в редакторских пояснениях. Но вышло иначе. Рукопись осталась в рабочем столе автора. Ей не суждено было стать завершённым романом, однако все её фрагменты, написанные в разные годы, несут на себе следы недюжинного таланта, вдумчивой работы и того, что в своё время и по другому поводу Виталий Сёмин назвал «страданием памяти». Благодаря этому они образуют внутреннюю целостность и вправе претендовать на внимание читателя как роман-размышление, роман-исповедь, роман-эссе.

Не прибегая впрямую к такому жанровому определению, П. Шестаков и сам сделал решающий шаг навстречу исповедальности, на каком-то этапе работы над рукописью (скорее всего, в середине 1970-х) заменив личные местоимения третьего лица, относящиеся к герою романа, на соответствующие местоимения первого лица. Его герой Игорь повествует о том, что происходило или случалось с ним, с его родными, друзьями (как правило, бывшими), людьми, так или иначе повлиявшими на его судьбу.

Судьба эта сложилась так, что едва ли не каждый факт личной жизни переключи-

кается с прошлым, давним и недавним, напоминает о встречах с людьми близкими и далёкими, побуждает сопоставлять события, отдалённые друг от друга как исторически, так и географически. Память Игора, пожалуй, сильнее, чем хотелось бы ему самому, воздействует на его поступки, она же главенствует и в его оценках поведения других персонажей романа.

Читатель, знакомый с творчеством П. Шестакова, может быть, испытает некоторую ностальгию по остросюжетности, свойственной этому писателю. Но хочется надеяться на то, что он будет вознаграждён участием в открытии других, не детективных истин, связанных непосредственно с душой человека.

Старый дом

Двадцать второго июня, в понедельник, я проснулся в четыре... Да, в понедельник. Я не оговорился, речь идёт о годе тысяча девятьсот восемьдесят первом, а не о том, когда началась война. Я проснулся, вышел на кухню и выпил рюмку водки, глядя в белёсое рассветное небо. Я отмечаю этот день не потому, что я ветеран. Сорок лет назад в четыре утра я крепко спал, мне было всего девять с половиной, а город наш расположен за тысячу с лишним километров от границы. Двадцать второе июня я считаю своей личной датой, так сказать, рубежом сознательной жизни. Не спрашивая меня, тот, кто сбросил первую бомбу, перевёл стрелки моих часов рывком вперёд. Я спал и не знал, что моё детство только что кончилось и всё «до» этого часа останется в памяти моей разорванной цепочкой разновеликих понятных и непонятных случаев и событий, а всё «после» выстроится в столбовой путь, которому, как мне долго казалось, конца не будет, а он вдруг оборвался, и дальше уже жизнь потекла без времени. И течёт до сегодняшнего дня, круглой даты, по случаю чего я и позволил себе рюмку водки.

Теперь я пью редко. А раньше пил, хотя и умел держаться в рамках, себя не терял. Много пил перед тем, как жизнь обошлась со мной круто, и после того. Вначале от радостного неведения, потом, как говорится, с горя. А потом понял, что бесполезно это, и перестал. Именно перестал, а не бросил. Теперь я, когда совсем невмоготу становится, занимаюсь психотерапией, заставляю себя думать о чём-нибудь отвлечённом. Отключаюсь и думаю, например, о Саудовской Аравии. Знаю я об этой стране, как и все, мало, – пустыня, нефть, куча денег, процветают. Но я не мусульманин, в дар аллаха не верю и потому думаю, что за свой золотой дождь им сполна платить придётся. И тогда становится жалко бедуинов. А иранцев уже не жалко. Я хоть и отношусь к жизни нелицеприятно – имею такое право, – но стараюсь быть объективным. Ведь если считается, что мы сами кузнецы своего счастья, то уж бед-то – наверняка. Счастье штука хрупкая, а молот кузнечный тяжёлый. Им с умом размахивать нужно, а ум редкость, хоть на недостаток его никто не жалуется. Так уж устроены. Каждый по десятку дураков лично знает, а намекни на самого – обидится: «Я-то не дурак!» Да что дураки! Даже смертными себя не сознаём. То есть осведомлены, и в книжках читали, и самим случалось слышать, как последний гвоздь в крышку вколачивают, а себя под крышкой представить не можем...

Ничего плохого в этом, конечно, нет. Напротив, великая сила жизни... Ну что бы с нами было, если бы этот последний стук вечным колоколом в ушах звенел? Руки бы с молотом опустились. Вот мудрые силы, нас не то из глины, не то из обезьян создавшие, и отрегулировали генетические цепочки, чтобы, правду не скрывая, сделать её недоступной нашему осознанию. Спасибо, конечно, но не перегнули ли создатели, зашорив нас, как пугливых лошадей? Ведь не в манеже по кругу бегаем, а по пересечённой местности да ещё и счастье куём на ходу; глядишь, и не туда удар придётся – у кого случайно, а у кого и нет... Так и я полпути пробежал, пока не услышал хруст собственного позвоночника; потемнело в глазах, и выпустил молот из

Неизбежность

рук. Остановилось всё, и понял я вдруг, что колокол звонит по всем нам, а не только по тем, кого мы, вернувшись с кладбища, с пьяной слезой поминаем.

Короче, я теперь, в отличие от многих, знаю, что жизнь конечна. А собственной жизни и вовсе осталось почти ничего. В пятьдесят лет с большим сердцем трудно пробиваться в долгожители. И зачем? Профессия моя – писатель. Многие мои братья – или недруги – по перу нашим занятием гордятся. А я нет. Я не тщеславен. Я давно усвоил две истины. Во-первых, литература не делает людей лучшими, чем они есть. Иначе как могло разразиться кровопролитнейшее из кровопролитий в так называемом цивилизованном мире после Толстого и Чехова? А я – это второе и главное – не Чехов и не Толстой, я ординарный член союза писателей, которого в лучшем случае издадут пару раз после смерти в порядке официальной благопристойности и забудут в очередном поколении. Конечно, как и каждый преодолеваемый писательским зудом, я тоже мечтал о «главной» книге. Иногда эти сны возвращаются, и тогда я стараюсь поскорее проснуться.

Чаще я думаю о прошлом. Вот и в этот рассветный час, наливая вторую рюмку, я вспомнил светлый день и тёмные тени на большом столе во дворе под навесом из винограда, выбеленную стену дома, крытого блестящим оцинкованным железом, запах яблок, нарезанных на сушку, красные помидоры, выпотрошенных раков и пивную пену на клеёнке в мелких жёлтых цветочках и, конечно же, людей за столом, двенадцать человек – взрослых, стариков и детей. Семья моего деда, мой первый и самый счастливый мир.

Этому воспоминанию больше сорока лет. Оно из самых ранних, маленькая тёплая звёздочка в галактике клеток, населённых воспоминаниями, но иногда она по законам астрономии вспыхивает, как пульсар, и тогда на душе становится беспокойно и смутно: было ли всё это – и запах яблок, и люди, полные надежд и забот?

Вопрос, конечно, риторический. Они были, а кое-кто ещё и сейчас жив, например моя двоюродная сестра. Живёт она в Москве, работает в литературном архиве, вычитала там всю подноготную известных писателей, а меня, малоизвестного, лично знает, и потому мнения о нас невысокого. Она худа, много курит, но к пьющим относится враждебно и из всех живых существ предпочитает кошек. Мы с ней совсем не понимаем друг друга и видимся крайне редко. Она не верит, что я давно не пью, и время от времени присылает мне вырезки из газет о пагубном воздействии алкоголя. Трудно представить, что эта жёлчная, красящая редкие седые волосы особа была когда-то пухленькой девочкой с толстой рыжей косой, которая убеждённо уверяла меня, что муравьи могут превращаться в крошечных добрых волшебников. Впрочем, она и теперь, кажется, верит в переселение душ...

А я не верю. И не хочу перевоплощаться не только в жабу или выючного осла, но и в самого замечательного из людей. Даже в директора гастронома не хочу. А уж тем более снова в писателя. Мне всегда стыдно встречаться с читателями. Я завидую фокусникам. Ведь если фокусник даже самого настоящего кролика за уши из цилиндра вытащит, все знают, что это фокус, иллюзия. Писатель же выдумку напишет, а люди её за правду жизни принимают, считают автора знатоком души человеческой. Стыдно. Конечно, я не вру сознательно. Больше того, когда пишу, верю, что честно пишу и правдиво, а вот перечитаю – и стыдно... Жвачка, прописные истины – одним словом, пошлость. Новый наряд короля или Тришкин кафтан, шитый белыми нитками домыслов. А как может быть иначе? Знаю ли я хоть самого себя? Или о тех двенадцати, с кем меня жизнь со дня появления на свет связала, что я знаю? Кого из далёкого прошлого вижу? Ведь для человека другие люди, даже самые близкие, а часто именно они, за семью печатями. Они лишь окружают нас, чтобы мы их любили или враждовали с ними, чтобы они о нас заботились или мы о них; нам хочется, чтобы им было хорошо или плохо. Но вот узнать их, узнать не для того, чтобы помочь

или погубить – это-то как раз удаётся, – а чтобы понять без корысти и пристрастия, понять просто, а не вмешаться, этого нам почти не дано. Раз уж природа никому, кроме сыщиков, не нужный рисунок на коже пальцев ни разу не повторила, если здоровое, способное спасти человека, но чужое сердце отторгает, то как же мысли, в подлинно бездонном мозгу возникающие, могут быть другим мозгом без помех и искажений полностью воспринять!

Да и не исследовал я эти глубины, а если откровенно, то интересовался ими мало. Тогда, в детское моё время, родные просто любили меня, и мне, мальчишке, этого было достаточно. Потом жизнь разбросала, а смерть подобрала по одному, и они ушли почти все, унеся и то, о чём я не успел спросить, суетясь по молодости, и то, чего они мне бы никогда и не сказали, потому что в жизни каждого есть такое, о чём он никогда не говорит. Пути наши расходились, жизни прерывались, и каждый, пока жил, сосредоточивался, понятно, на своей, но нити зримые и незримые связывали нас. Незримо связывала кровь, что передавалась от дедов к внукам, зримо – поступки, действия, вызывающие ожидаемые и неожиданные последствия.

Все мы были одной маленькой веточкой большого дерева, которое появилось задолго до нас и обновляется из года в год, а мы уходим, недолговечные побеги, покрытые недолговечными листьями, и среди них я, недавно только осознавший, что я всего лишь один из них, что, как и я, они зеленели, желтели и опадали, как и я, чувствовали и надеялись, трепетали и страдали, пока я думал, что всё со мной происходит. Но, осознав, что и они на свет появились, чтобы собственную жизнь прожить, я открыл и другое, горькое: как мало могу я о них теперь узнать: ведь упущенное невосполнимо, и луч пульсара не перенесёт меня в прошлое. Я могу только немного вспомнить, немного узнать, немного догадаться и немного домыслить.

Я не скажу, что именно в то утро, в понедельник, желание заглянуть в смутное прошлое и слиться с ним возникло во мне, обретя решимость. Конечно же, оно зрело давно и подспудно, иногда осознанно, иногда подсознательно, но упорно. Например, вопреки здравому смыслу, я уже давно хотел увидеть наш старый дом, о котором ничего не знаю.

Дом продали двадцать лет назад, а это для современного города – эпоха. Большое везение требуется, чтобы не попасть под нож бульдозера. Впрочем, большинство в таких домах живущих теперь это скорее невезением считают. Но почему я так вопрос ставлю? Ведь я в том же городе живу и вполне мог быть осведомлён, сломали этот дом или нет. А вот не знаю. И не только потому, что, живя в центре, с тем дальним окраинным районом ни делами, ни знакомствами не связан. Много лет не бывал я там сознательно, потому что продали дом вопреки моему желанию, хотя и справедливо, по необходимости, – и я решил никогда больше не видеть этого ставшего вдруг чужим дома. Не мог других людей в нём представить и не хотел. Так лет десять и пробежало, потом мне не до воспоминаний стало, а когда снова лучики из прошлого во мгле засветились, начал убеждать себя логикой: ну что я там смогу увидеть? Если даже и не снесли дом вместе с улицей под бетонную застройку, разве мог он остаться прежним хотя бы с виду? Покупатели-то сразу сказали, что дом их в прежнем виде не устраивает и они будут перестраивать и перестраивать. Стало быть, если он и сохранился чудом, то стал не только чужим, но и другим. И смотреть его никакого смысла нет. Однако я выпил ещё рюмку, закусил наскоро и пошёл.

Эту третью я выпил с прямой целью – нервы успокоить и принять то, что предстояло увидеть, с должным философским пониманием. И всё-таки чем ближе подвозил меня трамвай к знакомым улицам, тем беспокойнее становилось, и я даже поймал себя на мысли, что лучше бы улицы незнакомыми оказались, из кубиков, а не из дворики, что не поддались переменам. Только трамвай новенький был, светился зеркальными стёклами, ласкал глаз свежей окраской, а при мне тут больше колымаги разболтанные ползали и местные лихачи с открытых подножек семечками поплёвывали.

Неизбежность

На конечную остановку трамвай пришёл почти пустым. В такую рань никто сюда не ехал, утренние пассажиры двигались в обратном направлении, «в город», как здесь говорили, предчувствуя, наверно, что жить по-своему предстоит долго, хотя попытки урбанизации и предпринимались. На рубеже тридцатых годов, до моей памяти, построили на незаселённом пустыре комплекс жилых зданий, а точнее, один, похожий в плане на букву «Ж», четырёхэтажный дом с многообещающим названием «Новый быт», призванный, как видно, бросить вызов быту старому, обывательскому, скопившемуся в частных домиках. Дальше вызова дело, однако, не пошло. «Новый быт» ещё к началу войны захирел и по-местному стал называться просто – «большие дома». Возле этих домов я и сошёл на конечной остановке, оглядывая с волнением и любопытством местность, где стремительная в наши дни градостроительная история если и не прекратила, то явно замедлила течение своё.

«Большие дома», капитально отремонтированные после войны, вновь успели обветшать, и в интересах прохожих да и самих жильцов с их стен убрали балконы, а нижние половины бывших дверных проёмов заложили грубой кирпичной кладкой, превратив их в окна. Я прошёл вдоль непривычно плоской стены и заметил следы прогресса: покрытая при мне булыжником магистральная улица была теперь заасфальтирована, дома вдоль неё расширились пристройками, потеснив садики. Да и вдоль улицы растительности поменьшало, особенно цветов. Зато заборы стали повыше. Новые, кирпичные, они проводили строгую грань между улицей и домовладением, заменив дощатые, чисто символические ограды.

От этой главной улицы в двух кварталах начиналась «моя» – переулок, круто спускающийся к реке. Я свернул в него и увидел дом. Как писали сто лет назад, сердце моё сжалось. То, что я увидел, никак не соответствовало моим предположениям. Дом не был ни снесён, ни расширен, но изменился он неузнаваемо до невозможного – он состарился. Постарел настолько, что с первого взгляда было ясно: отремонтировать его или перестроить уже нельзя. Вросший в землю, покосившийся, он умирал смертью никому не нужного бедняка, пережившего родных и близких.

«Что же это?» – думал я, с недоумением разглядывая латаную толевую кровлю, потрескавшуюся грязную штукатурку, полусгнивший забор, подпёртый необтёсанными брёвнами, поверх которого было видно, что выходящая во двор стена тоже подпёрта. Двор и сам поражал запустением. Не было ни деревьев, ни винограда. Очевидно, они застарели, перестали плодоносить и хозяева срубили их на топку, а новых уже не сажали. А ведь собирались делать многое. Почему же не сделали? Не рассчитали сил? Год от года, пока не пришла старость, – ведь они и тогда уже были на излёте, хотя собирались устраиваться в новом гнезде надолго? А может быть, и смерть пришла раньше срока, унеся одного, сломив другого? Да, наверно, что-то такое. Я не хотел, чтобы к дому прикасались чужие руки, и желание моё осуществилось, не принеся мне радости.

Я смотрел на дом. Требовалось много воображения, чтобы увидеть здесь другую жизнь... Да что другую? Просто жизнь. Даже окна были плотно завешены и каменный порог у двери «парадного» входа с улицы треснул и глубоко осел; видно было, что дверью не пользуются. Входили в дом и выходили из него только через двор. Но я не собирался входить. Я уже жалел, что пришёл, глядя на дом, как Олег на останки павшего коня. Предчувствия оправдались: даже не перестроенный дом оказался не тем домом. Змея ужалила меня, но деваться было некуда, – я получил то, чего хотел. Не стоило поддаваться сентиментальности. Чувства, как лекарства, в одних дозах благодатны, в других опасны. Впрочем, как и всё в жизни. Одно дело вспомнить с грустью цветущий дом и совсем другое – ткнуться носом в полуразвалину, вещественный символ бренности, вырождения, старости и смерти.

Кстати, о смерти. Именно здесь, на улице, где я стоял теперь, увидел я своими глазами первую смерть, и, должен сказать, ничего более нелепого мне в жизни видеть

больше не пришлось. Сейчас улицу замостили грубым неровным камнем, а тогда, со-рок лет назад – было это месяца через два-три после начала войны, – спускалась она к реке полузаросшим бурьяном пустырьём, посреди которого проложил путь довольно глубокий ерик, канава, вымытая дождями, куда местные жители сливали грязную воду после стирки и иногда мусор выбрасывали, так что если дождь задерживался, ерик заметно благоухал странной смесью гнилья и дешёвого мыла. Нас, мальчишек, ароматы эти, однако, не отпугивали, потому что вместе с мусором в ерик попадало немало ценных с точки зрения нашего возраста и быта предметов. Вот и в тот почти жаркий день ранней осени мы прочёсывали канаву после ночного дождя от истока до устья и находились как раз напротив нашего дома, когда из соседней калитки выбежал он, человек, минуты которого были сочтены, и он знал об этом.

Впрочем, сначала несколько слов о Лиде. Лида была местная красавица со всеми вытекающими из этого положения последствиями. Из-за неё дрались, но она не выказывала никому серьёзного предпочтения, была горда, своенравна, недоступна и постоянно ждала от мужчин подвигов. Сейчас таких женщин уже не бывает, а она была. Не знаю, совершил ли подвиги этот последний в её жизни мужчина. Возможно, военному с двумя шпалами в петлице это просто полагалось по службе, однако с точки зрения Лиды был он ей, конечно же, не пара, потому что для восемнадцатилетней девушки, едва закончившей школу, мужчина сорока пяти лет представляется несомненно стариком. А он влюбился. Влюбился в госпитале, куда попал после ранения в первых боях, а Лида пришла добровольно помогать и ухаживать за ранеными. Ухаживала и за майором, не предполагая, что этот пожилой да ещё едва вставший на ноги человек может испытать к ней те же чувства, что и соседские парни или одноклассники. Впрочем, не те, а гораздо более сильные. Этого уж она совсем не понимала и повела себя ошибочно. Природная склонность «покорять», обязанность сиделки быть заботливой и ласковой и естественное чувство к пострадавшему фронтовику смешались в её поведении не лучшим образом и породили в майоре несбыточные надежды. Так начал он появляться на нашей улице сначала с палкой, а потом и без неё, но всегда со свёртком: носил излишки из своего воинского пайка, которые были весьма кстати, потому что уже ввели карточки и на талоны с надписью «мясо» давали ржавую селёдку. Мать Лиды, женщина совсем не красивая, вырастившая дочку без отца, визитами майора недалековидно гордилась и всем рассказывала, «как он Лидочку уважает».

И вот этот человек скорым неровным шагом вышел из калитки и, оглянувшись растерянно и непонятно по сторонам, быстро пошёл, почти побежал к нам, мальчишкам. Мы смотрели как замороженные, впившись глазами в руку, в которой он держал револьвер, тот самый, известный нам по многочисленным фильмам револьвер системы «наган» с вращающимся барабаном.

– Ребята... мне нужна железка... или проволока...

И мы вместе наклонились над ериком, и кто-то первый заметил и вытащил из обвалившейся глины кусок стальной негнушейся проволоки.

Он взял проволоку и что-то быстро сделал со своим револьвером, ловко, видимо, хорошо зная, что нужно сделать, и отшвырнул проволоку. Потом шагнул к нашему забору, отвернулся, как человек, собравшийся справиться малую нужду, но руки не опустил, а поднял на уровень груди, и тут же отставленный локоть дёрнулся, рука упала, выронив револьвер, а сам майор медленно опустился на корточки и, не задержавшись, повалился на спину.

Совершенно не помню выстрела, но на всю жизнь запомнил переходящий в визг вопль матери Лиды:

– Убийца! Держите его, добрые люди!

Потом мы узнали, что майор пришёл к Лиде для последнего объяснения – были, как выяснилось, и первые, – сказал в присутствии матери, что немедленно разведётся

Неизбежность

с женой, и предложил сочетаться законным браком – и получил решительный отказ, «потому что Лида ещё девочка, и никогда мы чужую семью не порушим». Тогда майор попросил мать выйти на несколько минут, «чтобы проститься с Лидой», и она вышла и через несколько минут (что происходило в эти минуты, не узнал никто) услышала выстрел и бросилась в дом к дочери. В дверях она столкнулась с майором, и они оттолкнули друг друга, потому что каждый спешил уже по своему немедленному делу. И только убедившись в ужасе, что дочь мертва, выскочила она на улицу вслед за убийцей, призывая схватить его, но он не бежал вовсе, а лежал в лебеду головой на вытоптанной пешеходной дорожке. Тогда она стала бить туфлями по этой голове. От каждого удара голова отскакивала, как боксёрская груша, и из полуоткрытого рта на расстёгнутый ворот гимнастёрки с белым подворотничком брызгала и стекала густая красная кровь.

Потом её оттащили...

Вспоминая этот случай, я всегда поражался жадности, ненасытности смерти, которой мало нашего естественного неизбежного конца. И в разгар войны, комбайном проходя по спелому жнивью, не могла она насытиться и рвала куски, где могла только, лишая свои жертвы разума и доброты.

А естественный поток своей чередой в Лету неумолимо вливался, и брызнувшие на забор красные капли оказались для дома чёрной меткой: через считанные дни умер дед.

На этот раз смерть поразила меня не вспышкой необузданных и непонятных по возрасту страстей, а полнейшей бытовой повседневностью. Общим была только полная неожиданность. Для меня, разумеется, потому что о больном сердце деда говорили много – и приступы были, и «скорая», но ведь я-то не знал ещё не только о конечности собственной жизни, – мне и жизнь близких бесконечной представлялась.

С первого сентября дед отводил меня в школу. Я был в третьем классе и во втором уже ходил в школу сам, но теперь наше школьное здание отвели под госпиталь. Школы слили и нас перевели в другое здание, подальше, но, главное, в городе уже случилась настоящая, не учебная воздушная тревога, и хотя это был всего один самолёт, он пролетел безнаказанно, днём и сбросил бомбы, убив первых в нашем городе людей. Дед отводил меня в школу и забирал после уроков, «чтобы ребёнок не попал под бомбёжку».

Красивый старик с белыми густыми усами, дед сопровождал меня до угла квартала, в котором находилась школа, и оставлял, щадя мальчишеское самолюбие, провожая только взглядом, пока я не терялся в толпе спешащих к звонку детей. На этом же месте встречал он меня после уроков. Каждый день. И в тот день проводил, положил руку на плечо и, улыбнувшись, подтолкнул слегка:

– Лети. Если раньше отпустят, жди здесь, а то, не дай бог, разминёмся, мать отругает.

Ждал его долго, а не дождавшись, обрадовался, – опека всё-таки тяготила, – и с удовольствием отправился домой самостоятельно. Пришёл и узнал, что дед умер.

К началу войны деду, Василию Поликарповичу Лапину, исполнилось шестьдесят восемь лет. Он родился в тысяча восемьсот семьдесят третьем году в донском хуторе Вербовом, где потом родились и выросли его дети. История их крестьянской семьи восходила к событиям восемьсот двенадцатого года, когда казачьим полкам довелось сыграть заметную роль в войне и быть отмеченными европейским вниманием. Не обошло смельчаков и внимание правительства. Многие отличившиеся стали офицерами и дворянами и получили обширные, однако пустующие земли. Крепостных людей из местного населения на Дону не было. Приходилось завозить со стороны. Один из новых помещиков, возвращаясь на родину из дальних походов, остановился по пути в Рязани и, удачно играя в карты, выиграл у богатой старухи-дворянки шестерых крепостных. Старуха оказалась женщиной сердобольной и вместе с про-

игранными «душами мужеского пола» отпустила их семьи. Среди них были и предки Лапиных. Поселили крестьян на мелководной степной речке, по берегам которой росли развесистые ивы, по-здешнему вербы. После отмены крепостного права хутор Вербовый с его разросшимся к тому времени населением вошёл в систему войска Донского. Не получив казачьих привилегий, донские крестьяне не несли и обязательных воинских тягот, связанных со службой в конных полках, а служили в пехоте и артиллерии. Мать моя смутно помнила, как дед уходил на русско-японскую войну. Запомнилась подвода с солдатскими сундучками, длинная юбка бабушки, за которую она хваталась руками, пока шли провожать мобилизованных до ветряка, и слёзы взрослых. Несмотря на слёзы, ей было не страшно, только очень любопытно. Матери едва минуло четыре, и она не могла знать, что вся её жизнь и самые невозполнимые потери будут связаны с войнами.

Впрочем, самому деду воевать больше не пришлось. К четырнадцатому году ему перевалило за сорок, и он вышел из призывного возраста. В отличие от деда, бабушка Елена Михайловна была чистокровной казачкой из соседнего хутора Талового. Оба хутора тянулись вдоль одной речки и даже смыкались крайними домами, но разница была заметна сразу: казаки жили просторнее, земли у них было больше и дома, называемые куренями, стояли реже, в отдалении друг от друга. Несмотря на некоторую натянутость отношений, жители обоих хуторов ходили в одну церковь, а детвора – в одну школу при церкви, построенной почти на самой меже. Там, в школе и в церкви, сначала познакомились, а потом начали встречаться и полюбили друг друга Алёна с Василием. Любовь их оказалась простой и редкой – с детства до смерти. Суждено ей было выдержать лишь одно испытание – в самом начале. Отец Алёны, уязвлённый в казачьей гордости, наотрез отказался отдать дочку за «хохла», как называли казаки соседних крестьян, хотя те и не имели ничего общего с Украиной. Но слово «хохол» резче подчёркивало сословную разницу, придавая ей национальный оттенок, что, видимо, льстило казачьей самобытности.

Сначала против заблудшей дочери предполагалось применить испытанное верное средство: «Отстегаю падлянку вожжами до полусмерти! Дурь выбью!» Но дочь сказала твёрдо: «Хочь до смерти бейте, не покорюсь!» Нужно сказать, что Алёна была дочерью единственной и любимой, и отец загоревал всерьёз. Долго ночью беспокойно ворочаясь на пуховой перине, обсуждал он с матерью тягостную ситуацию и наконец принял решение, которое казалось мудрым и обнадеживающим. Алёне объявили, что если она не покорится родительской воле, за ней не дадут приданого. А приданое предполагалось внушительное, и родители крепко надеялись на корысть жениха, верили, что влечёт его не одна Алёна, но и лошадь и пара быков, что были за ней обещаны. Но нашла коса на камень. Василий проявил и свою гордость и заявил во всеуслышание, что рад взять Алёну без приданого, чтобы ничем не быть обязанным богатой и заносчивой родне. На этом борьба самолюбий не кончилась. По обычаю в состав приданого входила вещь, без которой выходить замуж молодой казачке считалось позорно, – крытая сукном шуба на лисьем меху. Идти без быков и коня Алёна решилась, но без шубы сочла унижительным. И произошло для всех неожиданное: дочь людей искони вольного рода пошла в услужение в помещичью усадьбу, чтобы заработать деньги и купить шубу самостоятельно, без отцовской поддержки. Ахнули и отец, и Василий, но Алёна была непреклонна и преподала урок, который всем пошёл на пользу. Перед лицом такой непреклонности и самостоятельности мужчины сблизились и примирились, а Алёна завоевала то уважение, которое уже никогда не утратила за долгие годы замужней жизни. Обычно мягкая и уступчивая, если она говорила «нет», дед знал, что в этом редком случае нужно послушать жену. Короче, Алёна обладала редким и счастливым характером, унаследовав от отца твёрдость нрава, а от матери доброту и разум. В жизни подобные качества помогают перенести

Неизбежность

многие невзгоды, и она перенесла многие, а ведь ей пришлось пережить деда почти на двадцать лет.

Все эти сведения точные, и, может быть, поэтому я излагаю их так скупно и бесцветно. Они не оставляют простора для воображения, сомнений и предположений. Легендарную шубу я собственными глазами видел. Много лет пролежала она в сундуке в нафталине, скорее как предмет гордости, чем предмет одежды, и сгинула во время войны, то ли в пламени, то ли в чужие руки попала – не помню. Сгинула, и забыли о ней. Не до шубы было... И рязанское наше происхождение все в Вербовом подтвердили, когда и мне пришлось на родине, от немцев спасаясь, побывать. Говорю «родине», потому что именно этот невыразительный степной край, способный нагнать на другого почти уныние, особенно в серую осеннюю пору, в моей душе всегда вызывает чувство особое, и, не скрою, именно там хочу быть похороненным, а не в городе, в котором родился, на гигантском, ощетинившемся, подобно зубам дракона, обелисками, уже обречённом на снос кладбище, где равнодушные машины с утра до ночи роют впрок могилы, с каждым днём приближаясь к жилым кварталам, отчего жители уже шутя делят свой район на жилой и нежилой массивы.

Но довольно о кладбищах. Признаться, не люблю я их, и непонятно мне стремление в памятниках людей продлевать. Как говорится, уходя, уходи и не мозоль глаза зевакам, любителям даты на могилах пересчитывать с глупыми вздохами – «смотри, какой молодой, ему бы жить да жить!». Вздыхает такой дурак и не ведает, что час назад у него в животе первый метастаз появился.

Пока жив, о живом... О жизни в её странных проявлениях, когда нелепый случай судьбы целых поколений определить может. Ведь сыграй эта рязанская помещица получше или достанься ей лишний козырь при сдаче, смотрел бы я, на юг проезжая, равнодушно из окна вагона на степь, прославленные рязанские красоты вспоминая, а теперь наоборот: подходит поезд к Рязани, только и интереса – опаздываем или нет, поскорей бы проехать... Ибо земля эта, справедливо великим поэтом воспетая, уже не родная мне, а одна из многочисленных прародин, потому что Рязанщине предшествовали наверняка земли киевские или даже дунайские, а то и азиатские степи, – в роду у нас татарка была, – и так до бесконечности, до неведомой науке прапрародины всех людей. Да и до людей что-то было, если эволюционистам верить, и, может быть, потому нас не только дальние земли, но и моря и океаны волнуют, что они-то и есть начало из начал, и рыбы, на которых мы губительные сейнеры напускаем, всего лишь братья наши малые, которым не повезло в млекопитающие выбиться, на земле устроиться.

Так уж получилось, что избрал я родину матери и деда своей родиной и о родном доме толкую, хотя дом этот, если быть формально точным, малой семье нашей, то есть отцу и матери, совсем не принадлежал. У них была своя квартирка в другой части города, почти в центре, – две крошечные комнатки, всего-то восемнадцать метров на круг. Причём в одной хоть окно на улицу было, а в другой всего лишь «фонарь», стеклянный колпак над крышей, который зимой снегом заносило. В этой квартире, в асфальтовом дворе с мусорными ящиками, часть моего детства тоже прошла, но часть унылая, без солнца и деревьев, и понятно, что всегда я рвался в дом дедовский и его по-настоящему своим считал.

«Городской» мой дом тоже, между прочим, существует, но сердце не трогает, и, проходя мимо, я удивляюсь, что жил в нём, и не верится, что улица, на которой он стоит, была первым, хотя и бессознательным ещё впечатлением, знакомством с миром, в котором предстояло жить. А ведь это тоже факт достоверный.

Часы из вселенной

Меня везли на извозчике, плотно закутанного в жёлтое атласное одеяло, стёганное в крупную клетку. Шла вторая неделя моей жизни, начинался апрель, рессоры

пружинили, подбрасывая экипаж на неровном бульжнике, недавно освободившемся от грязного талого снега, и чёрные акации в два ряда тянулись между мостовой и домами. В этих запущенных, в основном в один-два этажа, домах до революции жили купцы, чиновники, а теперь люди самые разные, получившие ордера на комнаты и квартирки в некогда частных, принадлежавших «эксплуататорам» зданиях. Впрочем, кое-что частное ещё существовало, в том числе и клиника, где я появился на свет в вечерний час, когда день сменялся одинаковой по времени ночью. Клиника принадлежала известному в городе акушеру Гринбергу, и день весеннего равноденствия выдался там тяжёлым. Потом, когда я вырос, мать вспоминала, что из трёх родившихся мальчиков у одного оказалась заячья губа, у другого волчья пасть (что это такое, я долго не мог понять, но было страшно), а сам я выжил чудом. Гринберг прямо спрашивал у отца, ждавшего в приёмной, кого спасти – мать или ребёнка, и мать в полубеспамятстве якобы слышала этот разговор и повторяла непрерывно: «Спасите ребёнка... спасите ребёнка...» Меня долго окунали в ведра с горячей и холодной водой поочередно, пока я не пискнул, и тогда измученный Гринберг поднял ребёнка над головой и воскликнул радостно: «Красавец мальчишка!» Что, разумеется, не было правдой, но мать услышала и, счастливая, потеряла сознание, а я до сих пор не знаю, благодарить ли мне Гринберга.

Обо всём этом я, конечно, не знал, выглядывая из ватной упаковки, когда ехал на извозчике по Тургеневской. А впрочем, может быть, ещё Сенной. Вообще-то улица эта Тургеневской называлась изначально, но в конце века на ней построили замечательный для своего времени публичный дом, который приобрёл в городе заслуженную известность. Многие уважаемые люди заходили сюда и потом оживлённо обменивались острыми впечатлениями, полученными «у Тургенева». Подобное оплошление имени писателя, воспевшего чистую любовь, вызвало законное возмущение газеты «Южная волна», и она резко поставила вопрос о надругательстве над памятью... Городским властям пришлось принять меры, и улицу переименовали в безликую Сенную, благо в дальнем её краю начинался пойменный луг, где обыватели косили сено для домашней живности. Так Сенная и просуществовала до конца двадцатых годов, когда позорное прошлое дома с амурами на фронтоне забылось и в бывших номерах поселились служащие дорпрофсожа. Доброе имя классика было восстановлено, но жители, теперь уже по привычке, часто вместо Тургеневской говорили Сенная, и когда я подрос, то не раз слышал это слово; ушло оно из обихода только после войны, тогда же покрывалась забвением история переименования улицы, хотя знаменитый дом ввиду своей особой прочности и перенаселённости просуществовал гораздо дольше. Его даже хотели причислить к памятникам архитектуры, вопреки непристойному возникновению, однако в конце концов снесли, уже в конце семидесятых годов, и поставили на его месте шестнадцатизэтажную кооперативную башню с красивым названием «Изумруд», в котором живут в основном торговые работники.

Но наша квартира была не в особняке, а в бывшем доходном доме в три этажа с жилым подвалом. Дом образовывал замкнутый квадрат с двором-колодцем, в который мы и въехали через арку-проезд. Отсюда меня понесли по железной наружной лестнице на третий этаж.

Произошло это за девять лет до того, как деда в красном гробу вынесли из дома одноэтажного и положили в обыкновенные дроги, чтобы отвезти на кладбище. Машинами тогда ещё редко пользовались – хоронили не спеша, шли пешком за гробом, последний долг отдавая. Лошадь под дугой напряглась – два дня лил непрерывный дождь, и улицу развезло, да и двигаться нужно было в гору, – телега дрогнула, и голова деда подпрыгнула на подушечке. Капли дождя падали ему на лицо, и казалось, что дед плачет и слёзы стекают по щекам. Так мне показалось, мальчишке, и я ничего в этом удивительного или символического не увидел: деда везли хоронить, и все вокруг плакали, почему же и ему не заплакать? Посовещавшись, взрослые решили накрыть

Неизбежность

гроб крышкой, и дед ушёл от меня навсегда. На лошадь крикнули: «Но! Но! Пошла!» Она снова напряглась, колёса скользнули по мокрой глине, жёлтые комья вперемешку с брызгами слетели с железных ободьев, и телега поползла по улице, сопровождаемая немногими родными и соседями, тяжело ступавшими облепленными грязью сапогами и галошами. Я смотрел им вслед, пока скромная и грустная процессия не достигла мощёной улицы и не свернула на неё. На кладбище меня не взяли...

Кроме бабушки в последний путь деда провожали двое из живых тогда детей, – всего до взрослого возраста дожили шестеро из восьми, и одна дочь умерла от родов в двадцать первом году, – моя мать Татьяна и старший её брат Кирилл, подтолкнувший, между прочим, в своё время семью к переезду в город.

...Я вернулся в дом и с интересом стал наблюдать, как соседские женщины накрывают скатертью стол, где только что стоял гроб, а вскоре скромно предстояло поминать покойного. Обряд этот, с которым я столкнулся тогда впервые, перед войной считался многими отмирающим, пережитком прошлого. Тогда многое, впрочем, считалось пережитком, а теперь процветает. Свадьбы, например... Но свадьбы понятнее, это праздник, а вот поминки... Признаться, я пытался понять смысл этого многоступенчатого – третий день, девятый, сороковой – ритуала, но до конца не понял, с какой стороны ни зайди, хоть обывательской – лишний предлог рюмку пропустить, хоть с мистической, ныне наукой поддержанной, что, дескать, в сороковой день импульс какой-то в мозгу замечен, а я одно ощущаю: наивное и не лишённое чванства самоутверждение, что-то вроде подсознательного праздника жизни, дескать, мы его поминаем, а не он нас, и ещё поминать будем долго, короче, вариации всё той же темы – мы-то не умрём...

Ну да ладно... Не буду развивать тему. Конечно, о смертях мне ещё не раз говорить придётся, если сам не умру прежде, чем эти воспоминания закончу, но это не цель моя и тем более не самоцель, а грустная необходимость подвести итог жизни того или иного из упомянутых здесь людей. Ничего не поделаешь, итог этот объективный, согласно природе, и обойти его невозможно. Печальная необходимость. Прощание с героем.

Конечно, раньше писатели веселее были, они романы свадьбами заканчивали в основном, но это уже и Льву Толстому не нравилось, хотя и те по-своему правы были. Ведь во времена вечного брака свадьба и была своего рода личной смертью молодожёнов. Отныне они не себе принадлежали, а многочисленному потомству и из героев в обслуживающий персонал превращались. Что ж о них напишешь интересного? Сам старик из Наташиных пелёнок не много выжал. Теперь времена иные. До последнего часа самоутверждаемся. Вот и приходится до этого часа описывать и даже сам час. Особенно когда час этот преждевременно и неожиданно наступал, что для первой половины нашего века было вещь обычной. Так что не моя вина, если «со святыми упокой» чаще прозвучит, чем «многая лета». Но эти слова, конечно же, аллегория; время моего действия в основном безобразное было, и не только церковные напутствия, но и «это есть наш последний» не часто уходящий слышал.

Так и деда неверующего и беспартийного опустили в сырую в полном смысле этого слова землю, пожелав, чтобы была ему тяжёлая глинистая земля пухом, и разошлись под дождём быстро, не от чёрствого сердца, сожалели о деде искренне, а потому что великое бедствие уже переступило порог и люди кто умом, а кто душой или инстинктом понимали, что многих час отмерен...

Провожать высокопарно и высокомерно неуместно. Сами уже на чемоданах сидели. Может быть, единственно чёрствым был я. То есть деда я любил и его любовь ощущал всегда, хотя и был он человек уклада патриархального и на ласки и нежности сдержан. В свободную минуту – а таких у него, как человека в полном смысле слова от рождения трудящегося, за всю жизнь и дня не проводшего в безделье, было очень немного – он предпочитал что-нибудь читать, газету или книгу, а не возиться

с детворой. Я назвал «книгу» в единственном числе не случайно. Насколько мне не изменяет память, я видел в руках у деда всегда одну и ту же книгу – «Тихий Дон»... Книга эта была его книгой книг, и я хорошо помню, каким праздником был для деда выход четвёртого, заключительного тома.

– Боялся я, Алёна, что не дождусь, не доживу, – сказал он, уже испытав первые сердечные приступы.

Да, дед был сдержан к внукам. Во всяком случае, к тем счастливым, что превратили его двор в маленькое детское царство, то есть мы с двоюродной сестрой. Но был и ещё один внук.

Я помню, как стоял в тот день перед большой его фотографией, установленной на комод в красивой рамке, изготовленной специально дядей Кириллом, и смотрел на изображение мальчика внешности, которую принято было раньше называть ангельской.

Мальчику было на фотографии лет пять. Он сидел на стульчике у детского столика, одетый в матроску с галстучком, спускавшимся с распахнутого воротника, подперев щёку пухленьким кулачком. Если бы не короткие штанишки, его можно было принять за девочку. Точнее, трудно было бы определить, мальчик это или девочка, ибо ангелы, как известно, бесполоы, а внешность мальчика отвечала всем требованиям нашего представления об этих невидимых существах. Да, как ни парадоксально, но об этих невидимых божьих вестниках мы имеем самое конкретное представление, и никто из нас ангела с дьяволом на глаз не спутает. Больше того, представление это, если хотите, волюнтаристское. Ведь в учебнике «Уроки Закона Божьего по катехизису», по которому училась в гимназии Таня, об ангелах сказано чётко: «Ангелы суть бес-телесные, духовные существа, одаренные умом, волею, могуществом, быстротою в перемене места и зоркостью».

Но разве такими мы видим ангелов? Нет, не ум, не воля, тем более не могущество запечатлены даже мастерами на их видимых изображениях. Это с кукольной наивностью и примитивной здоровой миловидностью круглые личики, обрамлённые золотистыми локонами. Таков был на снимке третий дедов внук, мальчик с широко открытыми светлыми глазами, в которых ангельская наивность и невинность переходили, если присмотреться, в незамутнённую пустоту; мальчик, которого я тогда почти не знал, а вернее, почти не помнил. Это был сын Таисии, умершей от родов в двадцать первом году. А рассматривал я его потому, что слышал, что, умирая, не в силах уже говорить, дед протянул руку к этой фотографии, приподнялся в постели, и на этом всё кончилось...

Мальчику с ангельской внешностью было в то время уже двадцать лет, и он сидел в тюрьме. При нас, детях, о нём не принято было говорить. Потом, позже, я объяснил эту секретность естественным желанием уберечь малышей от страшного и непонятного, но ещё позже выяснилось, что причина была глубже.

И ещё о «чёрствости». Детей принято оберегать от того, что взрослым кажется тяжким и подавляющим, а иногда они удивляются детской бездушности, когда видят, как дети сравнительно легко переносят то, что подавляет взрослых, смерть близких в том числе. А я думаю, родители тут главного не понимают: дети с первого дня живут своей жизнью, в своём времени, сама природа их оберегает от горестей взрослых. Ведь у них есть уже и свои чувства и переживания, старшим часто непонятные, а иногда и тщательно скрываемые, свой мир радостей и огорчений, в котором сердце нередко кровотоцит «по пустякам», на которые взрослые и внимания обратить не желают.

Помню, ещё до школы пережил я два сильных чувства, которые ничуть не уступали тому, что пришлось переживать взрослому, а потому и назову их по-взрослому, как и следует, – любовь и разочарование в дружбе. Странно, что любовь пришла ко мне так рано; по правде, в последующей жизни своей я не был влюбчивым, а с годами и вообще свойство это утратил, а вот шестилетним малышом, понятия не

Неизбежность

ведавшим о любви даже в книжном её изображении, не только о сути самой, я это чувство испытал, как, может быть, никогда уже не испытывал. Впрочем, рассказывать долго нечего. Однажды вышел я на улицу, чтобы поиграть с приятелями, и увидел незнакомую девочку. Девочку, которая, как потом оказалось, у какой-то родственницы недолго жила, потому что внезапно родителей потеряла, что по тем временам не редкость было. Я хорошо её помню и сейчас – худенькая, невзрачная, молчаливая. Да и проявить себя никак ещё не сумела среди незнакомой детворы. Кажется, мы даже парой слов не перекинулись. Но вот я вернулся домой, вечер был, и мама обратила внимание на какое-то ненормальное моё состояние. То есть не сумасшедшим, а именно не отвечающим норме, не могу, впрочем, сказать, как я выглядел со стороны – возбуждённым был или, напротив, отсутствующим. Не помню, потому что весь в себя был погружён, охвачен непонятным. Зато помню хорошо ночь, как я не мог заснуть, а в окно сквозь щели в ставнях-жалюзи пробивался яркий лунный свет, голубоватыми отрубленными полосками ложился на одеяло. Потом дорожка этих полосок обрывалась, и только одна никелированная шишка на кровати спинке светилась ярко. Я, как загипнотизированный, смотрел на это блистающее холодным блеском пятно, большую звезду, до которой можно было дотянуться рукой, и мне ничего не хотелось, я в первый, а может быть и в последний раз в жизни был абсолютно счастлив, даже не понимая, что обязан этим погружением в невероятное появлению невзрачной девочки на нашей улице.

Конечно, такое не могло продолжаться долго. Да и девочка исчезла вскоре, уехала. Я так и не познакомился с ней. Не помню, как и звали её.

И ещё раз я смотрел на блистающий отражённым светом шар, но на этот раз испытывая боль разбитого сердца. Тут уж никакого наваждения. Ведь дружбы детская душа жаждет открыто и осознанно. И у меня такой друг появился. Человек, с которым я разделил первые тайны, неведомые родителям. Не помню, впрочем, что это были за тайны... И дружба, как мне показалось, возникла вечная. Породило её немаловажное с моей точки зрения событие. Мы с другом – имя его я помню, но вот даже сейчас произносить не хочется, потому и называю просто другом, вкладывая в слово горько-ироническую интонацию... Итак, мы с другом, копаясь в неиссякаемом источнике наших уличных радостей, всё в той же сточной канаве, ныне прикрытой каменной мостовой, нашли целое сокровище – две старинных больших пуговицы цветного стекла в медной оправе. находка эта вызвала во мне романтическую идею превратить пуговицы в своего рода символ нашей нерушимой дружбы – каждый должен был хранить одну как залог верности. И действительно, несколько дней хранили, молча и скрытно от всех показывая друг другу свои талисманы, как бы говоря: сколько бы ни было людей вокруг, наша дружба – единственная.

И вдруг... Всё рухнуло. Самым низким, предательским образом.

Заякаясь и, видимо, не без душевной муки друг попросил мою пуговицу, потому что ему угрожает некий Анчута, местный полухулиган, любитель раздавать подзатыльники всем, кто помладше и послабее. Друг не уберёт потаённый талисман, Анчута увидел пуговицу и теперь требует себе, чтобы нашить на магистерский плащ, – все мы тогда были под впечатлением фильма «Александр Невский» и вели рукопашные сражения, в которых Анчута выступал предводителем захватчиков, что вполне соответствовало его характеру. Нужно сказать, что в отличие от безусловной победы на Чудском озере наши сражения шли с переменным успехом, и считаться с требованием Анчуты приходилось всерьёз. В противном случае жизнь моего друга могла превратиться в пытку. Всем известно, как живётся малышу, если его невзлюбит хулиган-заводи́ла. Конечно же, такого я допустить не мог и скрепя сердце отдал свою пуговицу, чтобы избавить друга от оплеух и унижений.

В этом чистом порыве я не задумался над некоторыми несуразностями в его рас-

сказе. Например, откуда Анчута узнал о второй пуговице и почему не потребовал её у меня самого?

Горько было расставаться с пуговицей, но я и не подозревал, что горшее впереди. Потеря галисмана ещё не потеря дружбы, утешал себя я, но несправедливость отравляла существование, и когда я увидел на гроссмейстерском плаще, сооружённом из каких-то домашних обносков, «наши» пуговицы, я не выдержал и, не соображая, что делаю, крикнул:

– Гад ты, Анчута! Зачем отнял?

Тот глаза выпучил.

– Ты что, малявка? А ну повтори. Кто тебя подучил?

Ему и в голову не приходило, что я мог решиться на это сам.

– Никто меня не учил. Зачем отнял пуговицы?

Анчута снова изумился.

– Я? Отнял? Ты что, псих?

– Это наши пуговицы, – шёл я на подвиг, на самосожжение.

– Какие ещё ваши? Были ваши, стали наши. Мне их один малявка притащил.

– Врёшь! Отнял.

Мысли Анчуты двигались медленно, но в нужном направлении. Наконец он понял и захихикал утробно.

– Ну чудик, ну чудик... Сам он мне принёс. Ну хочешь, побожусь. Я про них и не знал... Принёс, говорит – возьми себе на плащ. Подлизаться хотел, чтобы заступался я за него. А ты дурак какой!

Подвига не получилось. Земля разверзлась под ногами. В последний момент я ещё получил по шее увесистой палкой с перекладиной, заменявшей Анчуте тевтонский меч. Но я даже не осудил его. Не мог же Анчута быть бесконечно благородным и простить мою наглую вылазку! Он очень дорожил своим авторитетом. А я получил по заслугам.

С другом я предпочёл не объясняться. Но ночью не спал. Не спал, лежал, скрючившись калачиком, и смотрел на озарённую отражённым светом никелированную шишку. Ночь снова была лунная, но я этим ничего примечательного подчеркнуть не хочу. Совпадение, не более. К лунному свету я отношусь, как большинство людей, и по карнизам с закрытыми глазами не хожу. Просто, повторяю, совпало, что оба самых сильных моих детских переживания пришлись на светлые ночи, и запомнилась мне эта никелированная побрякушка, уловившая часы из вселенной. Может быть, теперь я увидел бы в ней какой-то символ, единство брэнного с вечным, приходящим из неведомого. Но тогда, понятно, не философски мыслил, по-детски сердечко болело, предчувствуя, что жизнь только предупреждает о горькой сути своей.

Конечно, я не сопоставляю эти происшествия со смертью деда; просто думается, что между взрослой и детской жизнью разрыв шире, чем нам кажется, и оценка происходящего у тех и других разная. И снова скажу: в этом вижу мудрость природы. Иначе детям двойную нагрузку нести бы пришлось – свою и взрослую. А смерть деда при всём том, что касалась она меня непосредственно, тяжестью ложилась на взрослые плечи, к их миру он принадлежал, а я уже к другому, который сегодня, в свою очередь, для молодых день прошедший. И если бы был у меня внук, не хотел бы я, чтобы слёзы проливал он, со мною расставаясь, но нет у меня внука и не будет...

Ида и другие

Друга, которого я хотел повидать, звали Яков. Работал он в редакции газеты, носил очки, был толстым, спокойным, одним из немногих людей, понимающих своё место в жизни и не тяготящихся им. Когда я поднялся по узкой лестнице старинного особняка, где помещалась редакция, и, читая таблички на двух языках, нашёл нужную комнату, Яков сидел за столом, заваленным газетными гранками и ещё не набранными матери-

Неизбежность

алами, напечатанными на машинке на листках бумаги с редакционным паспортом и испещрёнными вставками, поправками и значками абзацев, сделанными синей шариковой ручкой, которую держал в руке Яков. Этой ручкой он правил очередной листок и, не поднимая головы, разговаривал с худощавой женщиной, курившей сигарету.

– Вода, конечно, холодная? – спрашивал Яков.

– Я не купалась. Для меня это холодно. Но загорать было можно вполне. Ты же видишь...

– Вижу, – сказал Яков, не поднимая головы. – В Паланге всегда можно загорать на дюнах. Там нет ветра.

– А солнце было почти каждый день...

Я присел за стол рядом с женщиной.

Яков не смотрел на меня.

– Яша, к тебе товарищ, – сказала женщина с сигаретой.

– Слушаю вас.

– Я бы не хотел тревожить господина барона понапрасну.

Яков поднял голову и глянул через очки.

– Это ты? – спросил он, не удивившись.

– Я.

– Приехал?

– Вроде того.

– У меня остановишься или в гостинице?

– Я бы не хотел беспокоить господина барона.

– Разбогател?

– Зажиточный середняк.

– В кулаки пробиваешься?

– По возможности.

– Ладно. Пока душу не распродал, можешь рассчитывать на моё гостеприимство. Конечно, люкс с ванной и телевизором?

– Можно без телевизора.

– Все современные миллионеры афишируют свою скромность. Ты, я вижу, не исключение.

– Учусь у старших товарищей.

Женщина с сигаретой слушала с любопытством.

– Ида! Это мой хороший друг... Однажды мы вместе промокли в Карпатах и сушились в одном милом госпитале во Львове.

– Коньяком сушились?

– Был и коньяк. Но тогда он не пренебрегал и водкой. Даже говорил так ласково – водочка... А теперь выбился в люди. Сядь на вертушку, будь добра, сделай ему приличный номер.

– Я читала вашу книжку.

– Понравилась, конечно?

– Вы не очень скромны. Вам придётся ещё многому учиться у современных миллионеров. Но книжка неплохая, между прочим.

– У нас без обмана. Плохих не пишем.

Она засмеялась и пошла звонить в гостиницу.

– Здравствуй, Яшенька, дорогой мой толстый человек!

– Здравствуй, старик, поцеловать меня сможешь вечером. На работе я строг и деловит.

– Это значит – «своим поведением ты мешаешь занятому человеку»?

– Ты барин, ты никогда не работал в газете.

Вернулась Ида.

Она присела к столу, вырвала листик из календаря и написала несколько слов.

– Это администратор. Очень милая женщина. Она нам всегда помогает.

– Спасибо. С позволения господина барона я осмотрю окрестности.

– Как устроишься – позвони. А вечером ко мне. Запеленговал?

Яков снова уткнулся в бумажки.

Мы вышли вместе с Идой. Было очень хорошо – свежо, солнечно, весело, жёлтые листья капились навстречу автомобилям.

– Зачем вы приехали?

– Я? Просто так. Мне нравится Яков. И город тоже нравится.

– Город у нас чудесный, я люблю его. Всегда спешу вернуться...

– Вы отдыхали в Паланге?

– Да.

– А почему не на юге? Там можно купаться.

– Юг действует мне на нервы. Всего слишком много. Вода слишком тёплая и какая-то маслянистая. Кажется, что её подогрели в не очень чистой кастрюле... Солнце до того накаляется, что дрожит на небе и вот-вот разольётся расплавленным металлом. Попробуй спрятаться под зонтик!

– Зонтик пропадёт, дырки будут.

– Да, такие чёрные... с обгорелыми краями... Но особенно люди, переполненные жадностью... толстые бабы на пляжах в самое пекло... они хотят захватить побольше солнца, прокоптить свои окорока... мужчины, рыскающие в поисках курортных развлечений, готовые пить водку в любое время суток, особенно грузины... богатые, наглые, шумливые... Нет, всё это не по мне.

– Таких людей не больше одного на десяток самых нормальных людей, живущих на трудовые рубли.

– Они не заметны. Запоминаются другие. Помню одну частную машину и семейство в ней: тупые, самодовольные и исключительно злые лица, даже у детей. На всех, кто к ним приближается, смотрят со смесью презрения, страха и озлобления.

– Однако вы нас, южан, не жалуете!

– Ну, бывают счастливые исключения.

– Я, к сожалению, не из их числа. Болтлив, тщеславен, шумлив и тэ дэ. Вспыльчив.

– Зато самокритичен.

– Это есть. Иногда даже слишком. Комплекс неполноценности.

– Не заметно.

– Вы не психолог... Впрочем, сейчас я его преодолел... почти... насколько это возможно. Труднее всего победить себя. Это как война во Вьетнаме. Теоретически почему бы американцам не победить? Все преимущества, техника... а вот на практике... шиш! Так и с самим собой. Всё понимаешь, видишь, где слабина, чувствуешь силы... а нет... там внутри партизаны, прячутся, уходят... и возвращаются. Надеюсь, я популярно пояснил свою мысль?

– Вполне. Но нужно ли это? Побеждать себя?

– Ах, вот вы какая! Женщины почти все так рассуждают. Вы за стихию, за чувства. А если стихия бьёт по морде? А? Слушайте, давайте выпьем по рюмке коньяку!

Она мне нравилась немножко... Худовата, правда, и за тридцать наверняка, у глаз морщинки, и на лбу, но что-то в ней было... Одинокая, конечно, может быть, с ребёнком. Всё понимает и, наверно, будет рада, если я... Поломается, конечно, скажет что-нибудь из бабских глупостей... зачем это, или – вам, мужчинам, так мало нужно от женщины... а потом будет стонать, плакать, может быть, скажет, что я не такой, как другие... но, наверно, всё-таки достаточно умна, чтобы не болтать о любви и не писать писем, когда я уеду.

– Выпьём, а?

– Выпьём.

– Где?

Неизбежность

– Здесь есть новый бар в гостинице.

Я был в этой гостинице года три назад. Жил на третьем этаже и заходил в ресторан. Он тогда давил довоенной провинциальной роскошью: было много зеркал, бронзы, пыли по углам и потёртого плюша ярких когда-то расцветок. Теперь всё изменилось. Убрали зеркала, портьеры, тяжёлые столики, рамы с мудрёными переплётами, сделали стойку, поблёскивающую пластиком, поставили высокие табуреты. Но у стойки толпился народ, и мы присели за пёстрый столик, разбитый современными квадратами наподобие шахматной доски. Только официант остался прежним, это было видно по профессиональным расчётливым движениям и очень ровному седому пробору.

– Прошу пана! – сказал он как-то интимно, доверительно и добавил ещё несколько слов по-польски.

Ида усмехнулась.

– Пан не поляк, – пояснила она, и официант как-то незаметно изменился. Ничего не сказал и не сделал, но изменился, интимность исчезла... Теперь он обращался только к Иде.

– Коньяк один и чашечку кофе.

– Что значит один? – спросил я.

– Пятьдесят граммов, – пояснил официант, с трудом, видимо, прибегая к этой водочной терминологии.

– Тогда мне сто пятьдесят и салатик какой-нибудь...

– Кажется, я его шокировал, – сказал я Иде, когда официант отошёл.

– Возможно.

– Как будто здесь пьют меньше, чем в других местах.

– Но не лошадиными дозами.

– По-вашему, сто пятьдесят – лошадиная доза? Не видали вы лошадей! Я, между прочим, собирался заказать двести, но вы меня смутили. В душе я застенчивый.

– Ничего, доберёте в другом месте.

– Вы тоже полька?

– Наполовину.

– Почему вы не уехали в Польшу?

– Я здесь родилась.

– Ваши родители живы?

– Нет. Папа умер перед войной. От туберкулёза. Он долго сидел в тюрьме. А мама погибла в гетто.

– Вы их помните?

– Почти. Но я их чувствую, понимаю...

«Она одинока, конечно», – подумал я, но спрашивать не стал.

Официант принёс коньяк. Иде в элегантном бокале, мне в столовом фужере.

– Воображает, что здорово уел меня. Возможно, даже хвастается на кухне, как поставил на место русского хама.

– Русских тут не все любят.

– А вы?

– Мои родители молились на Россию, как правоверные на Мекку.

– А вы?

– Я не религиозна.

– И зря. Умом Россию не понять... В Россию можно только верить.

Я постучал ногтем по дешёвому столу.

– Уж этот мне тонкий европейский юмор... слишком тонкий, чтобы защитить себя.

– Он помогает сохранить собственное достоинство.

– А чаевые он возьмёт?

– Возможно.

– Я не дам ему ни копейки. Не люблю хамства.

– Вас, однако, задело.

– А почему бы и нет. Что я ему сделал?

– Может быть, не вы... другой...

– Другой русский?

Она пожала плечами.

Я разозлился.

– Вот это я ненавижу. Скудость мысли. Неспособность определить каждого человека отдельно. Только кучами... Русские... евреи... капиталисты... негры. Вот он черномазый – души! Бей богача! Жидов берегись! А жидов нету, и буржуев нету, даже папуасов нету. Есть только люди отдельные. Вы... я... Как планеты, привязанные к нудным прочным орбитам... и пустота кругом... Впрочем, шутки всё это. В душе я именно и есть русский человек. Берёзки люблю, страдать люблю, штурмовщину люблю, пью стаканами. Далеко мне до мирного папуаса. Тому что? Съел человека и доволен. Лежит на песочке, в животе приятно урчит, счастлив, скотина. И заметьте, о завтрашнем дне, то есть о том, что завтра нужно ещё сожрать кого-нибудь, совершенно не думает. А тут десяток заглотаешь и не успел переварить, уже нового на мушку берёшь... А кто-то в тебя целится... Знаете, с папуасами был такой случай. Им, конечно, запрещают это обжорство. Узнала полиция про один такой случай, и раз – лакомку повязали. Увезли на вертолёте в какой-то цивилизованный центр, посадили. Вдруг к начальнику полиции мамаша является и свинью тащит. Думаете, взятка? Ничего подобного. Элементарный выкуп. Мамаша решила, что сынка на съедение забрали, и привезла свинью, так сказать, в компенсацию. Мясато по весу одинаково получается! Забавно? Вот если бы мы могли так строго логично мыслить!

– Да, логики вам не хватает.

– А может, так и нужно? Может, в этом и есть...

– Сермяжная правда?

– Она же посконная и кондовая. Пойдём отсюда, а? Слишком много тут пластмассы.

Слова я всё-таки не сдержал. Только махнул рукой, когда официант протянул сдачу.

– Где вы живёте?

– На той стороне.

– Я провожу вас, если хотите пойти пешком.

Она подумала.

– Пойдёмте.

Мы перешли через мост неширокую синюю реку, по берегам которой много строили: набережную с зелёными откосами, дома, какие-то крупные здания. Над ними покачивались стрелы кранов, неярко в светлом воздухе поблёскивали фейерверки электросварок, надрывно и бесполезно гудел мотор бездействующего компрессора. А за мостом, рукой подать, удивлял какой-то весь на изгибах запущенный дворец из тёмного кирпича с башенками, стрельчатыми окнами, балкончиками, ржавыми флюгерами. Ещё дальше тянулась улица, обыкновенная, неинтересная, с разнокалиберными, вперемешку, домами.

– Провинциальная улица...

– Очень. Вот тут рынок.

– Ну, уж базары у нас наверняка лучше, ярче. У вас всё чинно, тихо.

Но было шумно. На весь рынок ревел динамик:

– Атракцион «Вертикальная стена»! Медведи на мотоциклах! Начало через пять минут!

– Пошли посмотрим?

– Вам это интересно?

Неизбежность

– Интересно. В детстве я недобрал впечатлений. Многого недобрал. Недопил ситро и недоел лактобациллин. Вы знаете, что такое лактобациллин?

– Нет.

– Наконец-то появилось что-то такое, чего вы не знаете. Это хорошо. Идём смотреть медведя.

Помещение для аттракциона напоминало большую бочку, только с ровными поверхностями. Наверху по краям огороженная перилами публика дождалась людей, медведей и мотоциклов. Больше всего было детей, маленьких и постарше. Те, что пришли не в первый раз, объясняли другим, как всё будет. Мы протиснулись к перилам и оказались рядом с девочкой и мальчиком. Девочка-подросток с белыми, очень ровными гладкими длинными волосами, падавшими на плечи, говорила что-то мальчику не по-русски. Тот слушал, кивая. У обоих были бледные нездоровые лица, но разные глаза: у девочки большие мечтательные, у мальчишки озорные, настойчивые. Вдруг необычайно громкая музыка перекрыла все звуки и внизу на дне бочки появились двое с мотоциклом: он и она в блестящей и потрёпанной цирковой одежде. Он весь затянутый в чёрное, облегающее полнеющую уже, но сильную мускулистую фигуру, она в короткой юбочке, с открытыми жирноватыми плечами. Они повернулись друг к другу спинами и, одновременно подняв головы, улыбнулись натренированными механическими улыбками, которые давно, видно, не составляли для них труда, обнажив ровные чистые зубы. Музыка замолкла, и тотчас же заревел мотоцикл, и они чётко, отработанно начали демонстрировать своё умение, разгоняя мотоцикл внизу, а потом взлетая на нём на стенку и кружась по ней бессмысленно и страшно, поодиночке и вместе, сидя и стоя. Внутренность бочки наполнилась дымом, и в этом дыму мелькали колёса, напряжённые, прижатые к машине ноги, раскнутые руки и белые зубы в полуоткрытом в улыбке рту.

Я посмотрел вокруг. Девочка с длинными светлыми волосами смотрела, ещё больше открыв свои большие глаза, смотрела как на чудо, удивлённая и потрясённая, а мальчишка замер и присматривался внимательно, будто прикидывая, а сможет ли он так.

Ида тронула меня за плечо:

– Не туда смотрите.

– Не туда?..

– Вон девушка... По-моему, она хочет привлечь ваше внимание.

Я посмотрел через окружность и напротив в сизовой копоти увидел стюардессу с самолёта. И понял, почему она не ответила на мои заигрывания. Она была с лётчиком, симпатичным парнем в фуражке, сдвинутой на затылок. Одна рука его, крупная, белая, лежала на барьере, а другая у неё на плече, свободно, небрежно, по-хозяйски. Рука была, видимо, тяжеловатой, потому что плечо под ней немного опустилось, и это мешало девушке свободно держать собственную руку. А может быть, и не мешало, а она не хотела поднимать её. Она только согнула руку немножко, приподняла кисть и махнула – повела пальцами и ладонью, но я увидел этот жест, понял, что он предназначался мне, и собирался ответить, но не ответил: что-то резануло этими покачавшимися пальцами, я уже видел этот жест, видел... только очень давно, двадцать лет назад, и часто вспоминал его, сначала часто, потом реже, уже не мучительно, не веря, был ли он, были ли эти пальцы.

Но они были. И всё было. Это я понял сразу, потому что всё было похоже... Хотя на самом деле и не похоже. Так же шумно, музыка, нерусская речь, симпатичный парень в форменной куртке и рука его, уверенная, сильная, на плече девушки, почти девочки. Но это другой шум, другие слова и парень другой, не лётчик, а бейсболист. На его куртке спортивная эмблема – лев и слова – «лайнс», кажется, «кингс лайнс» – королевские львы, а может быть, совсем другие слова, или слов и не было... Он

смотрит с хорошей белозубой улыбкой, такой приятный, здоровый, порядочный, наверно, парень, и спрашивает, по-английски, разумеется:

– Москва большой город?

Я отвечаю, что большой, парень ещё что-то спрашивает, что принято в таких случаях, – как вам нравится в Канаде, красивые ли девушки в Москве. Как и все тут, он не говорит ни Советский Союз, ни Россия, а только Москва. Он очень вежлив и деликатен, он ни слова не говорит об атомном шпионаже, о Гузенко*, о железном занавесе. А рядом кружатся, катятся, танцуют в продолговатом эллипсе катка, в свете электричества, как дым здесь, над ареной клубятся снежинки, и громкоговоритель на столбе кричит, смеётся и приплясывает глупейшую песенку:

*Олд Мак-Доналд хэд э фарм...
Old Mc-Donald hed a farm...*

Потом они уходят, и она приподнимает немного свою руку из-под его тяжёлой руки и машет одними пальцами. На ней пушистый свитер, синяя вязаная шапочка на рыжеватых коротких волосах. И жёлтые глаза. Глаза смеются; её смешит, как трудно я подбираю английские слова, как неуверенно и неловко держусь, а может быть, ей просто весело здесь зимой на катке, в Оттаве, во время рождественских каникул сорок шестого года.

– Мери кристмас!

Олд Мак-Доналд хэд э фарм... хэд э фарм... хэд э фарм...

Это заело пластинку.

– Ай хоуп ю мэни гуд вишес!

Я не уверен, что говорю правильно, но они понимают.

– Танк ю!

– Гуд бай!

– Г’ба-ай! Со-лон!..

– Однако это невежливо.

Это уже Ида. Она повторяет:

– Невежливо так упорно не обращать внимания на девушку, которая вами определённо заинтересовалась. И не делайте вид, что не понимаете, о ком я говорю.

– Я понимаю, но с ней такой парень, что можно и по роже схлопотать запросто.

– Струсили?

– Это вас расстраивает?

– Мужчина...

– Вы мне больше нравитесь.

– Не думаю.

– Послушайте, Ида, вы читали книжку писателя Грибоедова «Горе от ума»?

– Проходила в школе.

– А теперь возьмите, перечитайте. Там всё про вас. Если бы вы были чуть поглупее, вам было бы лучше.

– Я знаю.

– Ничего вы не знаете. Воображаете больше. Откуда вы можете знать, что я уже пытался ухаживать за этой стюардессой в самолёте, причём с самыми определёнными и ограниченными целями? А минуту назад мне стало стыдно, потому что она напомнила мне одну девушку, один случай, и я сквозь эту мотоциклетную вонь ощу-

* Имеется в виду сбежавший в 1946 г. в США шифровальщик советского посольства в Канаде И. Гузенко (*примеч. редактора*).

Неизбежность

тил морозный и чистый воздух, и мне стало стыдно... Откуда вы это можете знать? Да и что вы вообще можете знать, кроме того, что все мужчины подлецы?

– А разве этого мало?

– Простите.

– То-то! Смотрите-ка, вот и мишка!

Я ожидал, что медведь будет жалким, унылым, замученным теснотой и грохотом, обязательно облезлым, с умными грустными глазами, но оказалось всё наоборот. Вышел хитроватый, холёный мишка и поклонился деловито публике. Никто его не понукал, сам поклонился и остался стоять на задних лапах, переваливаясь чуть-чуть и дожидаясь, когда ему приготовят машину. Видно было, что стоять так ему не совсем удобно, но это было нужно, и он стоял. Не из страха, потому что сразу было заметно, что медведь прекрасно понимает, что именно он здесь главный артист и смотреть пришли его, но именно поэтому он и должен соответствовать, потерпеть немножко. Сверху хороша была его мягкая, вычесанная, густая бурая с дымчатой поволокой шерсть. Хорошо бы запустить в неё руку, будет мягко и тепло, и медведь не укусит, наверно, привык уже к людям, умеет снисходить к их причудам.

Захлопали, потому что мишка уселся на мотоцикл и проехал по дну бочки. Не по стенке, а по дну, и не особенно быстро, но для медведя всё равно достаточно, и люди хлопали.

– В сущности, нелепо. Медведь делает не своё, противоестественное дело... Всё равно, что хлопать человеку, который засыпал бы на всю зиму!

Тут мотоцикл забарахлил и остановился. Мишка сошёл с достоинством и повернулся к человеку – почини, мол, сам видишь, я тут ни при чём.

– Чудесный мишка! – сказала Ида. – Как держится, умница!

Человек возился в моторе, а медведь ждал терпеливо, покачивался, потом подумал, наверно, что публика заскучает, прошёлся по кругу. Никто его не подгонял, сам прошёлся, и захлопали ему шумно. Медведь покосился на залечиваемую машину, понял, что дело волокитное, и опустил на передние лапы. Наверху зашумели и опять захлопали; всем нравился этот деловитый, сообразительный медведь.

– Он нравится потому, что похож на человека, – сказал я. – Все считают, что это достижение.

– А разве нет?

– Ни капельки. Просто расторопный холуй. Устроился при кормёжке, вместо того чтобы добывать свой хлеб трудами в тайге... Тепло, светло и пчёлы не кусают. Хитрая сволочь!

Я почему-то злился на медведя.

– Ну, как несправедливо. В нём столько достоинства!

– Самовлюблённость кретина. И этому у нас научился. Воображает, что может, умеет, царь природы, повелитель мотора. А сам балбес, как все мы. Самовлюблённый паразит.

Мотоцикл заревел, и бочка наполнилась синим газом.

– Пойдёмте из этого Освенцима, – предложил я Иде, ловя себя на мысли, что мне не хочется столкнуться со стюардессой на выходе.

На улице было по-прежнему хорошо.

– Эта девушка испортила вам настроение, напомнив другую...

– Вы говорите, как гадалка. Настроение отличное, как у космонавта, получившего телеграмму от Хрущёва.

– Зачем же медведя ругать?

– Холуйский медведь.

– Кого она вам напомнила?

– Любопытство погубило Еву.

– И меня тоже, но это случилось уже довольно давно.

– Хорошо, ответу. Вы смотрели известную оперетту «Роз-Мари»?

– В школьные годы.

– Интересно, чем вы занимались после школы? Что ни спросишь, всё было тогда.

– Но я помню эту оперетту.

– Помните, «как много чар в твоём прелестном взгляде, прекраснее ты всех в Канаде»?

– Помню.

– Вот я её и вспомнил.

– Роз-Мари?

– Ещё лучше. Хелен.

– Она в Канаде?

– Я знаю? Это было недавно, но это было очень давно.

– Вы были в Канаде?

– Был.

– В командировке?

– Как вам сказать. Расходы мои оплачивались, но не государством, а частными лицами.

– Скажите попроще.

– Знаете, это трудно. Это длинная история. Война, детство, разочарования, любовь. Я расскажу в другой раз.

– Хорошо.

Я не кокетничал. Рассказать было, конечно, можно, но только факты. Правда, и фактов было много, но сейчас они ничего не стоили, как та сетка, основа ковра. Без неё не удержаться, но ковёр-то совсем другое. Факты – чепуха, важны впечатления, что-то внутреннее, пережитое, маленькие, не заживающие никогда ссадинки на сердце. Они не заживают, но за двадцать лет ушли глубоко, их трудно затронуть. Я могу читать целую книгу о Канаде, даже хорошую, умную, как у Фидлера например, и не добраться до ссадинок... А могу случайно вдохнуть запах сирени, смешанный с запахом бензина, странный и не очень приятный запах, и тогда защежит. И эта рука через арену... Пошлая, наверно, баба, живёт со многими мужиками, длинноногая, сытая, но вот она случайно так же повела пальцами... Как тут расскажешь?

– Смотрите, я только подумал о гадалке... и вот тут как тут...

На выходе с рынка стоял прилично одетый старик в синих очках и крутил ручку шарманки. На музыкальном ящике в клетке сидел попугай.

– Что же тут особенного?

– Как что! Чудесно. Сколько веков он ходит со своей шарманкой и этой мудрой птицей...

– Не столько мудра птица, сколько глупы мы.

– Ну конечно! Я, например, необычайно глуп. Я буду гадать.

– Вы просто ребёнок.

– Сколько стоит счастье, отец?

– Счастье бесценно, молодой человек. Его нельзя купить.

– Значит, ваш попугай работает на общественных началах?

– Нет, попугай зарабатывает свой корм. Но он не торгует счастьем. Он честно предсказывает судьбу. Я не могу обещать, что вам выпадет счастливый билет.

Он был прав, этот честный старик, но я не поверил ему, сказал глупо:

– Ладно, рискнём.

И сунул старику рубль.

– Не нужно сдачи!

Попка сунул клюв в коробочку с билетиками, свёрнутыми трубочками папиросной бумаги. Я взял свой свиток и, развернув, прочитал: «Вы как-то совершили ошибку,

Неизбежность

которая не даёт возможности вам успокоиться, в дальнейшем будьте предусмотрительны. При правильном подходе к делу добьётесь исполнения очень быстро и с хорошими результатами».

– Что же вам обещают?

Я протянул Иде бумажку.

– Старик работает без обмана. Его цидульки – суровая правда жизни. Все мы совершаем ошибки, и у всех есть недоброжелатели.

– Пустой набор слов.

– Почему же? Впрочем, мы с вами никак договориться не можем. Если один говорил из них «да», «нет» говорил другой. В школьные годы вы, конечно, слышали эту популярную песню.

– Слышала. Но я почти дома, а пригласить вас к себе, к сожалению, не могу. Я только вернулась...

– Не нужно оправдываться. Да мне уже и в гостиницу пора.

– Отсюда удобно доехать на троллейбусе.

Идти пешком почему-то не хотелось. «Хорошо бы устроиться поскорее и поваляться с детективчиком каким-нибудь на кровати», – подумал я.

– Вот и ваш троллейбус.

– Вы будете у Яши?

– Не знаю...

Она, конечно, пришла, но всё сложилось не так, как я ожидал. Мне было слишком хорошо, а я не знал, как вести себя в этом случае. У меня не было опыта, только кровь несчастливой нации, которой бог подарил всё, кроме счастья, – много земли и много таланта, но отказал в счастье, устроив жизнь нашу по триаде: страдание, загул, похмелье. Впрочем, в последнее время, я замечаю, выравниваются жёсткие углы этой формулы, преобразуется она, а точнее, приспособливается к новой научно обоснованной жизни, когда земля перестала кормить, а талант – приносить пользу. Вот и формула выравнивается – не пляшущий в муке график, не русские горки, а плавная синусоида, где внизу не крик страдающей души, а танталовы муки недобытого имущества, которое сосед добыл, а вместо загула – пьянство в рамках допустимого, желательно на казённый счёт. Но это теперь и не для всех. А тогда, да и неизвестно, надолго ли, природу некоторые из нас одолели. Ведь природа в большой глубине, а мы всё по поверхности, даже в планету свою больше чем на десять километров пробиться не можем, хотя над ней порхаем на крылышках и без них. А о той раскалённой магме, что дымками вулканов из земли курится вечно, что знаем? Гипотезы...

Вот и во мне природа заговорила и вместо разумной радости, что несчастья мои вроде бы рассеялись, понесло меня кровью предков. Именно предков, каких-то дальних, потому что родителей своих я на этих качелях не видел. В их время, хоть и короткое, как-то иначе было, а может быть, просто на время муки и радости слились во всенародном масштабе и страдания смягчились в этом единстве, а радости разумным светом окрасились? Не знаю.

Знаю только, что мне в личной моей радости этого утишающего света не хватало, ну а загул со всякими необузданными излишествами тоже не получился: ведь я всё-таки не вольный купец, – довольно-таки законопослушный интеллигент, вот и был больше смешон, чем грозен, то есть пил лишнее, болтал лишнее, хвастал и вообще вёл себя глупо среди этих дружелюбных сдержанных людей, которым в общем-то успехи мои совсем неинтересны были и празднование совсем не вовремя, потому что, как потом подтвердилось, у Яшиной жены тяжёлая необратимая болезнь начиналась, и они её уже ощущали, но говорить о ней не решались, надеялись на лучшее...

Короче, многого я не знал, многого понять не мог, а главное, не стремился в самоупоении, и когда ушли мы с Идой и я не сомневался, что к ней идём, она сказала:

– Вы были похожи на Остапа Бендера, который хвастался в поезде перед студентами.

Стало обидно, потому что близко соприкасалось с правдой, хотя она и преувеличивала, конечно.

– Миллион я никому не предлагал...

– Просто у вас его не было.

Наверно, она это без умысла сказала, лишь факт обозначила, но мне в голове, полной самодовольства и винных паров, это прямым оскорблением показалось, послышалось намёком на мелочность моего тщеславия, на то, что не деньгами миллиона у меня нет, а способностями, достоинствами, и потому претензии у меня копеечные.

– На рубль амбиции, на грош амуниции? – спросил я.

Ида уловила обиду и поправилась:

– Я только вспомнила, как вы лихо бутылки из портфеля вытаскивали. Знай, мол, наших...

Но это оправдание только укрепило меня в догадке: «Смягчить хочет, не надо».

– Не надо, – повторил я вслух.

Стало не только обидно, но и стыдно. Обострённо, как это бывает у пьяного, вспомнились проклятые дорогие бутылки, хвастливые слова: «Ну и прошёлся по вашим магазинам... лучшую рыбёшку выловил...»

– Не надо смягчать. Вы слишком наблюдательны. Пушкин сказал: «О, несносный наблюдатель!»

Мы уже подошли к её дому.

– Не обижайтесь, – сказала Ида.

Так и не знаю до сих пор, что она хотела этим сказать – предложить покончить с ненужной пикировкой или смягчить уже решённый отказ.

– Я не обижаюсь, – ответил я не совсем правдиво и положил ей руки на плечи.

Она отстранилась мягко.

– Зачем вам это? Лишняя победа...

Она была умна и наблюдательна, но ничего не понимала во мне... Хотя какая-то суть с обычной женской проницательностью, не от ума идущей, а от бога, и была уловлена. Я хотел победы, но не над ней, – над жизнью, не зная ещё, что жизнь мне победить не суждено.

– При чём тут победа... Просто меня потянуло к вам...

– На одну ночь?

Я разозлился.

– А вас устраивает только вечная любовь?

– Ну пусть не вечная, но хотя бы любовь.

Она сказала это грустно, освобождаясь от моих рук.

– Простите, но это так унижительно – числиться в донжуанском списке под каким-то очередным номером.

Наверно, она хотела, чтобы я опроверг её слова, и мне ничего не стоило это сделать; за тридцать пять лет жизни у меня было только три женщины, из них одна лишь после того, как я женился, и та сначала разгромила, а потом победила меня. Не я её. Но об этом было стыдно рассказывать, да и вспоминать не хотелось те дни, когда не только надежды, но и стена рухнула в халупе, где мы жили с Верой.

Наталья

Я стоял и никак не мог оторваться от этой рухнувшей стены, потом, пачкая в глине туфли, перешёл канаву через переброшенную гнущуюся доску и потрогал ногой свалившийся ракушечник. Зачем?

– Совсем вы, Игорёк, расстроились...

Это незаметно подошла соседка Фрося и стала рядом, пряча под полушалком

Неизбежность

бутылку. Я посмотрел на Фросю и подумал механически, что теперь она сможет пить много и шумно и не бояться нас, хотя и так не боялась, наверно...

– И напрасно совсем. Плюньте вы на неё, на стенку эту. Даже наоборот, вам же лучше. Прораб же сказал, новую поставят, и фундамент подведут, и газ будет. Заживём ещё лучше. Перетерпите немножко у родителей, и всё...

«Как это она сказала? Заживём ещё лучше? Ещё лучше?»

– Я вас обидел, Фрося, тогда... Извините.

– Обидели, Игорёк, обидели. Уж чем не занимаюсь, так уж нет... Да ладно, я не помню. Я понимаю, мешали мы вам, вы тоже извиняйте...

«Что это я? Как перед смертью: простите... и вы прощайте...»

Я повернулся и пошёл. Она права. Наверно. Поставят стену, новенькую, кирпичную, но та, что рухнула, была не просто перегородкой между комнатой и улицей; это символ всего, что рухнуло, что не удалось, не получилось. И хотя рукопись лежала в ящике и ни одна пылинка не попала на неё, мне казалось, что все эти камни придавили листки бумаги и ещё что-то придавили внутри – сердце, душу... «Заживём ещё лучше? А может быть, умереть? Нет, глупость, никак не возможно – мама, Вера... А жаль, как бы всё успокоилось, если бы можно было умереть... Кто-то сказал, что человек свободен, потому что он может уйти из жизни. Да, если можешь уйти, значит, свободен. Когда можешь. Но ты не можешь. Значит, не свободен. Правильно. Всё сошлось».

– На ловца и зверь бежит!

Потом я вспомнил эту фразу. В точку попал Андрей. Не знал только, что опасно это может быть для ловца. Особенно когда зверь на пределе.

– Ну уж теперь не отвертись! На защиту не пришёл – учти, помню и не простил. Теперь никаких отговорок! Поворачивай за Верой.

– Зачем?

– На новоселье. Седьмой этаж, три комнаты, лоджия. Всё как у людей.

Мне стало смешно. Умереть нельзя, и убить Андрея невозможно. Его толстая потная физиономия лоснилась, поплёскивала от радости. Нельзя убивать человека, если он так рад.

– Поздравляю.

– Поворачивай, поворачивай, времени нет. Гости ждут.

– Хоть бы предупредил. Подарок же нужен.

«Что это я плету? Какой подарок? Зачем мне это новоселье? Зачем мне Андрей, получивший от жизни всё, чего я не добился, даже жену, которую я любил, а теперь вот квартиру с лоджией, которой я и добиваться не могу мечтать... Что сказать? Ничего нельзя, я не могу его ненавидеть, потому что это Андрей, которого вообще нельзя ненавидеть, но и поделиться, сказать – нельзя, потому что мы уже в разных измерениях и нам не понять друг друга. Я не завидую ему, он не может сочувствовать мне. Что же делать? Пойти, наверно. Всё равно делать нечего. Вытерпеть всё до конца?»

– Никаких подарков. Мальчишник среди голых стен, по-студенчески.

– Хорошо, пойдём.

– А Вера?

– Вера в командировке.

Было действительно всё по-студенчески, почти, если не считать квартиры, коньяка с многими звёздочками, дорогих закусок, но голые стены скрадывали детали, а народ всё был молодой, пьяный, шумный. Кое-кого я знал, других нет, но это не имело значения, потому что никто не обращал уже внимания друг на друга, и я поспешил сам выпить поскорее из бутылки, что стояла на чемодане, покрытом газетой, чтобы стало легче. И стало в самом деле легче. Я зажевал коньяк кусочком балыка и уже без боли проглотил чью-то шутку:

– Андрей сказал, что приведёт известного писателя, это вы?

Все захохотали, и я тоже усмехнулся.

– Нет, я поэт.

– Прочитайте стихи!

– «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады...»*

– Мы это слышали по маминому патефону, – заявил пьяный физик в очках.

– Возможно. Это из моих ранних стихов.

Все снова захохотали.

– Ребята, Игорь замечательный человек, – расчувствовался по привычке Андрей.

– И мы ещё про него такое услышим...

Я выпил ещё полстакана и стерпел. Нужно было всё стерпеть. Тем более что на меня уже не обращали внимания. Я открыл дверь в лоджию и увидел Наталью. Она смотрела через крыши домов куда-то за реку, за город, где зажигались один за другим ночные огоньки.

– Притащил тебя Андрей?

– Как видишь. Какое очередное желание?

– Что?

– Это я сказку вспомнил. О рыбаке и рыбке.

– А ты жестокий.

– Нет, просто стена у меня обвалилась.

– Какая стена?

– Иллюзий.

– Не меняешься?

– Шучу. Обыкновенная стена. Ремонт у меня. Воздухом дышишь?

– Скрываюсь от гостей.

– Чем плохие ребята?

За дверью кто-то затянул:

...Жалок мне мужчина холостой:

– Андрей сказал: всё будет по-студенчески.

*...У меня для этой самой штуки
Есть своя законная жена!*

– Мог бы и не говорить. Они иначе не умеют, – сказала она с неожиданной для меня враждебностью.

– Разве плохо, что люди не стареют?

– Просто недоделанные.

– Ого!

– Факт. Работает замкнутая группа клеток головного мозга. И всё. Автомат. Они привязаны к ней, как кружка к бачку с водой. Помнишь, в общежитии?

– Я не жил в общежитии.

– Я тоже.

Андрей появился на пороге, красный, блаженный.

– Старик, слово! Дай слово, что не сбежишь! Я провожу ребят и вернусь мигом. Нам столько переговорить нужно, не представляешь... Слово?

– Не беспокойся, я не спешу.

– Отлично, старик, отлично, – бормотал Андрей нечётко.

Они с шумом исчезли.

* Стихи ростовского поэта Григория Гридова, ставшие перед войной популярной песней в исполнении Клавдии Шульженко (*примеч. редактора*).

Неизбежность

– Открой, пожалуйста, окно в кухне, – попросила меня Наталья. – Нужно очистить воздух от этого бедлама.

Она подошла к столику из чемоданов и налила коньяк в чистую рюмку.

– Хочешь выпить?

– Нет.

– А со мной?

– Пожалуй.

– Умница. Спасибо. За твои успехи.

Я опустил руку с рюмкой.

– У меня нет успехов. Только за твои. Так какое очередное пожелание к золотой рыбке?

Она посмотрела прямо, широко открытыми глазами и усмехнулась.

– Догадайся.

– Машина?

– Я думала, ты догадливей.

– Нет, я туповатый.

– Заметно.

Она смотрела на меня по-прежнему, но уже без насмешки, а упрямо, как человек, который привык добиваться своего. Взгляд был откровенным, но разве об этом я мечтал тогда, на набережной...

– Наталья...

– Догадался?

– Нет, – ответил я и выпил всё, что она налила.

– Нам дружба всего дороже? – произнесла она с сарказмом.

«Ну откуда ей знать, что я заведён до предела? Что шагнула на тонкий лёд? Что мне необходима разрядка? Любая. Да она ж и предлагает разрядку... Нет, только не эту. Это поздно. Свинья...»

– Успокойся, я пошутила, – сказала она прежним тоном.

– Пошутила?

И тут я почувствовал свободу. Осело всё, что тяготило, вязало, не давало вздохнуть. Теперь я стоял высоко и легко. Всё можно было. Всё. Даже это. Я поднял руку и с размаху, с наслаждением ударил её ладонью по щеке. Она отшатнулась и замерла. Не от боли, от неожиданности. Потом подняла руку и прикоснулась к щеке. Я повернулся и пошёл, пошёл, перепрыгивая через ступеньки, с седьмого этажа вниз...

– Ты, Игорёк? – спросила мама.

– Я.

– Как Верочка?

– Ничего. Я буду спать, мама.

– Я постелила на диване.

– Спасибо, мама. Очень хочется спать.

Но хотелось умереть. Очень хотелось умереть, а срок ещё не подошёл. Не мог я представить тогда, что придёт час тысячекратно худший и его стерпеть придётся.

Проснулся я рано, сразу и всё вспомнил: стену, рукопись, новоселье, пощёчину.

Умереть захотелось снова, и не так, как ночью, спяну, сладковато и устало, а резко, мучительно и стыдно. Хотелось кусать подушку, стонать, бить себя, называть вслух идиотом, мерзавцем... Не умиротворяющая скорбь человека, миновавшего последнюю грань, а тоска мелочей, стыда, страха одолела беспощадно, выворачивая наизнанку всякую деталь. Лезло в голову глупое, второстепенное – скажет ли она Андрею? А если остался след от удара? Как объяснить? Стыд перед Андреем, перед Натальей...

Я шёл по улице, когда заметил, что уже несколько раз назвал себя вслух идиотом.

Нет, дальше так не пойдёт, нужно взять себя в руки. Как? Выпить. Немедленно. Опохмелиться? Само слово вызывало отвращение. Просто – клин клином. Выбить муть из мозгов. Но ведь на работе... Ерунда, можно заесть чаем и держаться подальше... Я купил четвертинку и пачку чаю, забежал в знакомый туалет, деревянную провонявшую будку, и торопливо сломал, размельчил сургуч. Конечно, я пытался задержать дыхание, но рвота всё-таки подкатила к горлу, я с трудом одолел её, засунул в рот жменю сухого дешёвого чаю и начал жевать лихорадочно. Бутылка с оставшейся водкой полетела в грязную дыру. Стало чуть спокойнее, потом ещё...

Когда меня позвали к телефону, я уже втянулся в рабочую рутину, мелкие заботы оттеснили и главные, и последние, мерзкие.

– Слушаю.

– Это ты?

«Неужели она?»

– Я.

Наталья говорила спокойно и деловито:

– У меня два вопроса. Во-первых, насколько я знаю мужчин, и тебя особенно, ты, конечно, расклеился и мучаешься всевозможными комплексами. Плюнь. Я всё заслужила. Понял?

Я не знал, что ответить.

– Ты слышишь? Давно заслужила. По заслугам. Так что с этим покончено. А теперь второе. Сегодня зайди обязательно. Андрей страшно надулся. Забеги, облегчи ему душу. Я постараюсь задержаться на работе, чтобы не бередить твою больную душу.

Она уже повесила трубку, когда до меня дошло наконец, что Андрей обижен не тем, что я ударил его жену (об этом он ничего не знает); он обижен тем, что я его не дождался, хоть и пообещал.

Двадцать раз я усомнился в том, что поступаю правильно, и всё-таки постучал в эту дверь. Всё спуталось и смешалось. Некуда было деться, а оставаться весь вечер одному было невыносимо. И хотелось воочию убедиться, что Андрей не знает. И ещё подспудно, подсознательно хотелось увидеть её, хотя она и сказала, что задержится, её не будет, да и как встретиться с ней после вчерашнего? Но болезненно хотелось увидеть, посмотреть. Она говорила так спокойно...

И так же спокойно отворила дверь. Отворила и усмехнулась.

– Прости, пожалуйста. Тебе не повезло, Андрея срочно сослали читать лекции в филиале. Он уехал. А я пришла, чтобы ты не стоял в недоумении перед дверью, не хочу быть виноватой. Может быть, зайдёшь, посидишь?

Я переступил порог, боясь поднять на неё глаза. Боялся, что на щеке след, клеймо. На щеке ничего не было. Когда я решился наконец взглянуть, стало легче. А может быть, вообще ничего не было?

– Я запретила Андрею тащить сюда старую рухлядь, – слышал я.

Наталья ходила по новой пустой квартире, где в самом деле не было ничего, кроме связок книг, чемоданов и тахты, и вытаскивала откуда-то рюмки, бутылку, банки.

– Раз уж ты решился, выпей рюмочку. Как я поняла, тебе некуда спешить.

– Некуда.

– Только не произноси слов обречённо. Безвыходных положений не бывает. Нужно только уметь ждать.

– Ты дождалась?

– Начинаешь язвить? Отлично. Значит, оживаешь. Да, я дождалась.

– Извини. Ничего плохого я не хотел сказать.

– И не говори. Ты говоришь не плохое, а скучное, поверхностное, известное. На два года вперёд известное.

– Что же я собираюсь сказать, по-твоему?

Неизбежность

– Что-нибудь насчёт полированной мебели, которой мне не хватает для полного счастья.

– Угадала. А разве можно было придумать поостроумнее?

– Можно. Например, того ли я ждала?

– И что бы ты ответила?

– Да, того. И должна бы быть довольной, но...

– Что «но»?

– Не получается.

– Мне бы твои заботы.

– Расскажи!

– Что?

– О твоих заботах.

– Зачем тебе?

– Полегчает.

– Ты думаешь?

– Ну а как же.

Я посмотрел на неё и удивился. «Неужели полегчает?»

Сел и рассказал. И по мере того как рассказывал, не легче становилось, нет, спокойнее, сосредоточеннее, будто более равномерно распределил на спине гнетущую тяжесть.

Она слушала не перебивая, покусывала губу.

– Выпей!

Я выпил.

– Андрею завидуешь?

– Завидую.

– Понятно, хоть и нечего завидовать. Если б ты знал, как меня раздражает его удачливость. Ведь у него получается всё, за что бы он ни взялся. Собственно, он ничего не добивается. Он катится, как колобок.

– Вот ты его и съела.

– Пожалуйста, не нужно изображать меня хищницей. Он изрядно поупрашивал, чтобы его съели. И ничего не потерял. Пока... Если хочешь, я одна из его текущих и неизбежных удач.

– Которые он недостаточно ценит?

– Я этого не говорила. И вообще я хочу сказать о тебе. Уверена, что ты счастливее его.

– Смелое предположение.

– Поверь. Я редко ошибаюсь. У тебя ещё всё будет: деньги, успех, квартира. Ты же ещё ужасно молод.

– Тридцать скоро.

– Для мужчины это чепуха. Зато ты получишь завоёванный успех. Не обязательный, лёгкий, а завоёванный. Понимаешь, ты будешь ценить его. И себя.

Я засмеялся.

– Знаю, почему смеёшься. Думаешь, мне синица в небе, а себе журавля выгодного?

– Нет, почему же. Наверно, ты полюбила Андрея.

– Полюбила! Как я его полюбить могла, если я тебя любила?

– Меня?

– Ну что уставился? Глаза растеряешь. Всё правильно. Любила тебя, а вышла за него. Потому что видела, что пока ты жизнь осилишь, от меня ничего не останется. Старая стану и тебе уже не нужна буду. Никакой радости. Сначала мне тебя тащить придётся через все ямки, слёзы вытирать, слюни, а потом Марья-царевна появится – и ускачете на сером волке. А мне в Бабы Яги подаваться? Природа так устроила. Стареем мы быстро, – пояснила под конец буднично.

– И за то спасибо. Утешила.

– Я ж говорила, что утешу. Пей-ка ещё.

Я выпил.

– В общем, по морде я схлопотала заслуженно. Вот теперь всё знаешь. Это я тебе сообщить хотела. Теперь можешь идти, если хочешь. Про Андрея, что он тебя звал, наврала я. Но я тебя обманула, чтоб сказать. Чтоб ты не квасился из-за этой затрещины.

Она опрокинула свою рюмку, а я уже чувствовал, что захмелел, что отошло проклятое повседневное, а крутится одно – «любила», и приятно было от этого.

Наталья поднялась и вздохнула, приподняв под платьем грудь.

– Ну что, уходишь?

Конечно же, она не хотела, чтобы я уходил, и я не ушёл. Она победила меня, и я изменил жене и другу.

Потом, уже накануне вторичного и окончательного разрыва, я так и сказал ей, так и назвал то, что сделал. Подчёркиваю, я винил только себя, но к себе относился без снисхождения. Может быть, в рукописи этой я ещё напомним, что происходило между нами, но сейчас не хочется, сейчас помнятся только начало и конец. Нет, не было бурной сцены, упрёков и злости. Жарко только было, и она сидела на кровати голая, лишь край простыни перекинула через бёдра. Это было в той же квартире, но как в ней всё изменилось! Впрочем, нет смысла описывать квартиру, в которой всё есть и всё, что есть, любовно выставлено и использовано. И многое придумано сверх обычного обывательского стандарта, с претензией на необычность. Так, в спальне одна стенка вместо обоев была покрыта сплошным зеркальным стеклом, вдоль которого тянулись к потолку зелёные лианы, выращенные в специальных полированных ящичках, установленных на полу на чугунных подставках. Когда я лежал в её постели, я всегда отворачивался от этой стенки, но её, напротив, волновали сцены, происходившие за листвой, и я не раз видел, как именно в тот момент, когда люди забываются, она напряжённо и жадно скашивала глаза, стараясь не упустить ни одного отражённого движения.

Но тогда, в тот окончательный день, я сидел поодаль, и мне просто некуда было отвернуться, и я видел их двоих – одну на кровати с сигаретой и пепельницей в руках, а другую напротив, прикрытую лианами. Конечно, она могла и не прикрываться, в это время она была в расцвете и никакая одежда не могла её украсить больше, чем эти листья, вызывавшие в памяти что-то из мифологии – Диониса, Вакха, Венеру, безумства вакханалий. Но мы сидели напротив друг друга, измученные не любовью, а тем, что она не получилась, и говорили друг другу ненужные, уже бесполезные слова.

– Я изменил жене и предал друга.

Она выпустила струйку дыма и сказала задумчиво:

– Чепуха. Я считала тебя умнее. Жизнь глубже этих расхожих псевдоистин. Никому ты не изменял и никого не предавал, ты просто взял то, на что имел право. За ту первую ночь, которая тебе не досталась. А они просто отняли её у нас. Андрей своей удачливостью, а Вера жестокой жертвенностью. Ведь жертвенность безумно жестока. Она требует в ответ слишком многого. Но я вижу, ты не дорос до понимания глубин жизни. Пожалуйста, будь свободен. Зачем мне вечно кающийся грешник, который ни в чём не виноват?.. Ты свободен.

Она потянулась к бутылке с вином, что стояла на туалетном столике, и налила себе немного в хрустальный бокал. Потом выпила и встала, оглядев себя на этот раз в большое трюмо. Это всегда её успокаивало. Она нравилась себе. И на этот раз она вздохнула удовлетворённо, приподняла руки и поправила распущенные волосы.

– Конечно, уходи. Это хорошо – уйти вовремя, не дожидаясь, пока у меня появятся морщины, поникнет грудь... Ведь я ещё хороша, правда?

И она повернулась ко мне, запрокинув руки на затылок.

И снова победила, расчётливо сказав последнее слово в истории, которая длилась больше десяти лет, с тех пор, когда я увидел её в стареньком перешитом пальто с лисьим воротничком в университетской раздевалке.

Я шагнул к ней и, не повинуюсь себе, положил руки ей на бёдра, с вечным удивлением ощутив невероятную прелесть её кожи.

Она откинулась на подушку и с усмешкой смотрела, как я раздеваюсь, сбрасывая с ноги нерасстёгнутую туфлю.

А когда я на другой день, опять побеждённый, позвонил ей, она почти ласково попросила меня никогда больше не звонить. И я, достаточно хорошо знающий, что кроется за мягкостью её голоса, больше не звонил. А потом я понял, что это хорошо, потому что хотя и не проник ещё в глубины жизни, но всегда чувствовал, что расхожие истины почти всегда не псевдоистины и в жёстких и простых этих формулах больше справедливости, чем в мнимо глубинных интеллектуальных прикрытиях наших поступков, которые не прощает совесть, ибо совесть всегда права в споре с разумом.

...Вот они и победы, вот и донжуанский список. Но не говорить же об этом!

– В моём возрасте я, увы, уже не могу предложить вам номер один.

Было в общем-то неловко: ведь любви-то в самом деле не было.

Я быстро трезвел и не знал, как выйти из этого неловкого положения.

– До свиданья, – сказала Ида. – И не обижайтесь, пожалуйста. Я уверена, что вы найдёте, с кем разделить радость. И она будет рада. А я... вы же сами видите, мне всё трудно даётся...

– Мне тоже, – ответил я искренне.

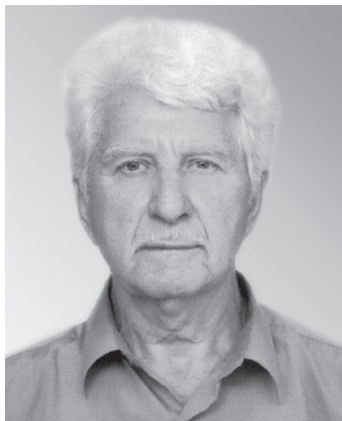
– Тем более. Зачем же играть не свои роли? Каждому своё.

Я уходил узкой каменной улочкой, на которой не могли разъехаться две машины. Кованые старинные фонари светились кое-где на кронштейнах, вмурованных в каменные стены лет двести назад. Временами прямо через улицу были переброшены арки; они поддерживали верхние этажи этих любимых туристами домов, в которых так неудобно жить современному человеку. Улица давила, сжимала узко сдвинутыми стенами, и я старался идти посередине, где грубый, но отшлифованный веками булыжник сходил в неглубокую лощину, по которой стекали непрерывные дожди. Я уже совсем отрезвел. Я шёл и думал, что завтра же уеду из этого города, и с облегчением вышел из каменной тёмной расщелины на площадь, где в мокром асфальте отражались неоновые латинские буквы, из которых было составлено название моей гостиницы.

Публикация Л.А. и Т.П. Шестаковых



Леонид Дьяков



ДВЕ БЕРЁЗЫ

СОХРАНИ

Родина печальная моя...
Над тобой дожди –
Как будто слёзы.
А в саду белеют две берёзы –
То моя любимая и я.

Родина счастливая моя!
За калиткой ерик, мостик,
Лодка.
Между вишен хата, как сиротка,
Ждёт, когда домой приеду я...

Всё на месте – речка и камыш.
Синь лежит до займищ Зеленькова.
Запах мяты,
Тмина лугового,
И роса блестит на плешах крыш.

Ничего особенного нет.
Но смотрю в речную даль
С порога –

Дьяков Леонид Владимирович – поэт, член Союза писателей России, автор нескольких стихотворных сборников. Живёт и работает в Ростове-на-Дону

Две берёзы

И прошу забытого мной Бога
Сохранить нетленным этот свет...

Я не уеду никуда.
Уже февраль – и шаг
До марта.
Уже полночная звезда
Весне свои раскрыла
Карты.
Уже щетинится трава
В тиши на солнце у забора.
Уже хмелеет голова
От голубиноного простора...
И развороченную хмарь
С небес сметает синий ветер,
И приоткрылся солнца ларь,
И, чёрт возьми,
Прекрасно светит!..
И расплескалась синь-вода,
И птица тенькает в леваде...
Я не уеду никуда –
Всё запишу в свои тетради.

Солнце. Дымка. Травы акварель.
И сорока на ветке хлопочет.
И сконфуженный
Синий апрель
С этой жизнью расстаться не хочет.

Зажигает цветов кружева
На лугу и в согревшейся роще...
А по небу –
Гусей караван,
И весёлое солнце полощет.

И он думает: всех ли согрел,
Не забыл ли кого-нибудь
В спешке?..
Как скворец распевает, пострел!
Словно щёлкает солнца орешки.

И закручивает повитель
На тропу
К соловьиному маю.
Я тебя понимаю, апрель,
С грустью в сердце тебя понимаю.

ПОБЕГУ К РОДНОМУ ДОМУ

Дождь косой сечёт по окнам,
С крыши падает ручьями...
Я в молчанье одиноком
Зрю на зимушку с печалью.

Не поёт, не вьётся птица,
Гибнет снежная краса.
Что-то там не то творится –
Это я о небесах...

Сердце что-то вяло бьётся.
Но не будем забывать:
Если даже кровь прольётся,
Дождь не станет унывать.

Он к тоске добавит стылость,
Уплотнив свои штрихи;
Разведёт такую сырость,
Что закашляют стихи.

Но меня непросто всеу,
Обкрутив, зажать в тиски, –
Я на стенке нарисую
Солнце, речку и пески.

И по лучику златому
Побегу к родному дому,
Где есть печка, мама, смех
И вареники на всех...

ВДОХНОВЕННАЯ ПРИРОДА

Отбунтовала за ночь непогода
И улеглась в долине на покой.

Две берёзы

А утром вдохновенная природа
Ждала светило с песней вековой...

И ничего от бури не осталось,
И день зачался весел и высок.
И верба, как девчонка, улыбалась,
Роня капли солнца на песок.

Я шёл к реке тропинкой одичалой
И сознавал всё глубже и сильней,
Что я в душе ничем не отличаюсь
От этих трав, и верб, и тополей...

Нам любо жить на этом белом свете,
У нас одни тревоги и мечты:
Чтоб никогда злодей
Смертельный ветер
Не отнял нашей дивной красоты.
Года летят, что кони вороные,
В сквозных лучах недремлющих
Светил...
Хочу, чтоб каждый человек отныне
С любовью к нам на землю приходил!

Размыло лето свой портрет,
Нет от дождей спасенья.
Стекает с вербы тихий свет,
Последний свет осенний.

И уплывает теплоход,
Гудит гудок прощальный...
А утром в лужах – первый лёд
И снег исповедальный.

Он так наивен – Боже мой! –
Что кажется – растает...
Но пахнет в воздухе зимой,
И холод нарастает.

И вот уж скована река,
Вчера ещё живая.
И, как неожиданная тоска, –
На льду воронья стая...

НЕВЕСЁЛЫЕ МЫСЛИ

И слякоть, и дождь, и тревога,
И воздух густой,
Как вода...
Ведёт меня в хутор дорога.
Печально поют провода.

Природа, как старая скряга,
Не балует светлостью дня.
Из речки остывшей коряга,
Как идол,
Глядит на меня.

Везде и тоска, и унылость, –
Что вербы, что речка,
Что луг...
Прошло, отцвело, отлюбилось,
Застыло в преддверии выюг.

И преют опавшие листья,
И спит туманок на стерне.
И вновь невесёлые мысли,
Как птицы, гнездятся во мне.

По крыше – дождь. Над крышей
Ветер –
Осенний, хмурый и сырой.
О, дай мне, Бог, пожить на свете,
Хотя и грешен пред тобой...

О, дай мне, Бог, пожить на свете,
Чтобы в оставшиеся дни
Я был раскованный, как дети,
И верил в счастье, как они.

Чтоб с твоего благоволенья
В такой печальной
Тишине
Вдруг приходило вдохновенье,
Как раньше – женщина, ко мне...

Николай Дорошенко



О НЕКОТОРЫХ НАШИХ НАПРАСНЫХ СВОЙСТВАХ

*Царю тому на верность присягну,
Кто возвратит России Севастополь!*
Валентина Ефимовская

*Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом...*
Николай Рубцов

С возрастом я начинаю воспринимать всю свою жизнь в виде пространства, поделённого пополам. И если одна половина похожа на мой письменный стол, где каждый клочок бумаги и каждая книжка ждут своего срока, то вторая остаётся подобной тёмному чулану, где неприкайным хранится всё, что было однажды обретоно, но — вдруг оказалось ненужным.

Например, с тех пор, как лет в семь я сумел с высоты бруствера той канавы, что окаймляла наши огороды, без сторонней помощи усесться на просторную лошадиную спину и, умирая от ужаса и восторга, вроде бы как промчаться аж до дальнего, в небо упирающегося Бугра и обратно, должен был бы я стать на всю жизнь заядлым лошадиным. По крайней мере, войдя во вкус, я мастерил из отцовских запасов сыромятной кожи кнуты и уздечки, изукрашивал их алюминиевыми заклёпками, плетениями, а также разного веса китецами. Но однажды и кнуты, и уздечки, и самодельный сапожный ножик, и шилец, и мотки смолёной дратвы вместе с запасами толстой алюминиевой проволоки я подарил племяннику, уже подрастающему, уже на мои богатства жадно поглядывающему.

Дорошенко Николай Иванович – прозаик, публицист, член Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России, главный редактор газеты «Российский писатель», почётный член Ростовского регионального отделения Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.

А случилось это после того, как отец вручил мне самодельный ящик с плотницкими и столярными инструментами.

Но прежде, чем я этот воистину царский подарок от него получил, к нам зашла баба Меланья и попросила моего отца вкопать ей новый присошек для калитки, поскольку старый сгнил и отломился. Отцу же надо было убегать по своим делам, так что пообещал он присошком заняться либо вечером, если возвратится не затемно, либо на следующий день.

А как только он из дома ушёл, я отправился к двору бабы Меланьи самолично.

Она уже орудовала тяпкой на своём огороде. Так что без её пригляда я выкопал яму на глубину трухли от присошка старого, затем черенком лопаты утрамбовал землю вокруг присошка нового, найденного в Меланьиной куче для дров. Затем, как это делал отец, вытесал и вбил вплотную к присошку основу под пятку самой калитки. Затем калитку поднял и петли её приколотил с помощью проходившего мимо деда Яшки — уже дряхлого и потому с трудом понявшего, что двор бабы Меланьи я не ломаю, а ремонтирую.

Баба Меланья, когда я её позвал принимать работу, заплакала. Отец тоже по возвращении домой сходил к Меланьиному двору. Долго сопел носом. Из одной прикрепленной к присошку петли гвозди как бы невзначай вынул и прибил её заново, так, чтобы калитка «гуляла свободней». И много народу к нам подошло. При этом мужчины, для пущей важности поплевав на ладони, вроде как пытались вкопанный мной присошек изо всех сил пошатнуть, а женщины, поохав и поохав, стали именовать меня исключительно Иванычем по примеру деда Яшки, который тоже чувствовал себя героем, и во все последующие дни, пока ноги ему позволяли выползть из дома, он, завидев бабу Меланью, охотно кричал ей: «Как там поживает наша с Иванычем калитка?»

Но кроме бабы Меланьи жили на нашей улице другие вдовы. Одни, как Меланья, в войну потеряли и мужей и сыновей, другие сыновьями обзавестись до войны не успели. Так что в течение лета я все неприкаянные дворы и хатки обошёл, все их плетни и садовые загородки выпрямил, всем ихним шатающимся скамейкам и табуреткам распорки к ногам прибил, а бабе Олёне даже поставил заплатку в полу сарая, где стояла у неё корова.

Думаю, и Наполеона после всех его побед над Европой Париж не встречал с таким восторгом, с каким встречала меня моя улица, когда я, важно пошмыгивая, выходил со двора. «Вот, Иваныч идёт, всем Иванычам он будет Иваныч!» — доносились до моих ушей со всех дворов и ото всех колодцев восхищённые женские голоса. А мужчины первыми со мною здоровались и приостанавливали даже самые азартные свои разговоры. Так что если б я попросил у них закурить, то попервоначально они бы наперебой стали предлагать мне свою махорку и только задним числом бы опамятавались. Даже мой суровый отец, запоздало обнаруживший, что его запасы драгоценной сыромятной кожи почти ополовинены, только-то и спросил: «Неужели ж я тебе отказал бы, если б ты по-человечески спросил у меня разрешения?» И я уже не из страха, а из великодушия не стал ему объяснять, что с его разрешения свои кнуты и уздечки я вынужден был бы изготавливать из самых коротящих и неудобных обрезков. «Ну, ты, слава Богу, из баловства уже вырос», — смирился и отец, твёрдо уверовавший, что я стану таким же, как он, рукастым.

И на следующий день я получил от него в личное пользование ящик с теми инструментами, которым, конечно же, была у него более достойная замена, но очень уж для меня драгоценный.

И, вопреки ожиданиям отца, оказавшийся в ящике столярный карандаш с необыкновенно мягким и толстым грифельком пробудил во мне ещё и интерес к рисованию. Так что всё, что у нас в школе затем появлялось в коридорах в виде стенгазет, досок

Рассказы

почёта и прочего, было намалёвано моей рукой. Однако же о своём самодеятельном умении рисовать я затем вспомнил в своей жизни лишь пару раз. Когда служил в армии, то для выполнения оформительских работ меня иногда освобождали от однообразных боевых дежурств на неделю и дольше. И ещё я взялся за кисти, чтобы расписать орнаментами храм в винницком городишке Чечельник и тем самым заработать денег перед женитьбой.

Кроме того, очень часто, как самый счастливый сон, я вспоминаю бесконечную морскую гладь — то синюю и лёгкую, как невесомый воздух, то зеленоватую и изукрашенную белыми рунами пены, то мускулистую и свинцово-серую, а иногда по утрам — молочно-белую, а затем розовую, а затем — ослепительно-золотую, а на закатах — даже не могу сказать, какую. И особенно мне нравилось стоять за штурвалом нашего старенького сухогруза «Мингечаур» ночью, когда по его, оказывается, не такому уж и крупному корпусу пробегали судороги под ударами волн, когда брызги с хрустом впечатывались в стёкла рулевой рубки, а я, распахнув рот, выскуливал занемевшим от восторга горлом некую свою полную ярости мелодию, и она полновластно вплеталась своей хоть и утлой, но живою нитью в выдыхаемую морской стихией великанью симфонию.

Четыре часа такой вахты пролетали, как один миг!

Однажды капитан вошёл в рубку именно тогда, когда я, удерживая судно против волны, уже не скулил, а вопил как резаный. От смущения я изогнулся над штурвалом в три погибели. И уши мои запыхали так, что я даже услышал треск своих волос.

Но, сняв мокрый плащ и озабоченно взглянув на картушку компаса, капитан по-divился только тому, что берегового огня с мыса Тарханкут всё ещё не видно.

— На всякий случай ты градусов на пять влево заведи и так удерживай, — велел он. — А то даже не заметишь, как в этот Тарханкут врежемся.

И не без облегчения я понял, что моё свойство впадать во время шторма в обморок звериного пения не такое уж и редкое, что, может быть, даже и он, наш вечно хмурый капитан, — такой, как я, созвучный природным вызовам человек.

Три года я был рулевым матросом. Но надо было куда-то девать скопившиеся у меня тетрадки со стихами. И однажды я от моря проснулся, из сердца его навеки вырвал, купил билет на поезд и умчался непонятно куда и с непонятно какою новою жаждою.

И если, например, в Киеве я сразу же стал тяготиться работою на стройке в качестве электромонтажника, то в инструментальном цехе волгоградского завода «Красный Октябрь» я прикипел к токарному станку намертво. Так что мой наставник дядя Миша (так он велел себя называть) уже через месяц на спор с другими токарями вместо нарезания гаек или шайб поручал мне даже свою хоть не трудоёмкую, но на доли микрон работу, а я — благополучно справлялся.

А однажды в вестибюльчике нашей душевой он вдруг остановил меня за локоть и строго велел:

— Ты здесь стой и гляди на вон того человека, пока он не оденется и не уйдёт, а потом мне скажешь, кем он тебе показался...

Решив, что дядя Миша опять с кем-то на мои свойства поспорил, я терпеливо стал наблюдать за невысоким мужчиной лет пятидесяти, не спеша одевавшимся возле своего вещевого шкафчика. Пока был он лишь в трусах и в майке, то от всех прочих токарей нашего цеха отличался разве что почти подростковой шупловатостью и особой задумчивостью. Другие перешучивались, всё время вступали друг с другом в короткие и ничего не значащие разговоры, а он даже мочалку и мыло укладывал в шкафчик с таким видом, словно решал самую ответственную задачу. И лишь когда он сначала надел немислимо белую рубаху, а затем и дорогуший костюм с галстуком, мне стало ясно, что нашему брату он не чета.

— Ты уже уходишь, Андреич? — заторопился спросить у него такой же пожилой, но ещё не успевший одеться токарь.

— Не торопись, Магвеч, я тебя до центра подброшу, — очнулся от своих, конечно же, важных мыслей этот особый человек.

И все, кто в голом виде, а кто в полуголом, затихли, на прощание стали один за другим пожимать ему руку.

— Бывай, Василич, — важно попрощался он и с мужчиной, оказавшимся рядом со мною. Однако мне тоже была протянута выглядывающая из просторного белого манжета с серебристой запонкой узкая и мягкая кисть его руки.

— До завтра, — услышал я его смутный голос, обращённый уже именно ко мне.

Хоть и с перепугу, но всё-таки попал я своею ладонью в его ладонь. А опомнился уже в душевой.

Дядя Миша, намыленный с головы до ног, ополоснул лицо и нетерпеливо спросил:

— Ну, как?

— Что ли директор наш здесь переодевается? — предположил я от растерянности даже самое немыслимое.

Эти мои слова были встречены всеобщим хохотом. Словно бы все уже сверх всякой меры натерпелись в ожидании вот этого моего вопроса и наконец дали себе волю.

— Завтра я ж расскажу Андреичу, как ты его уже в директора записал! — больше других веселился дядя Миша.

А затем он же мне сообщил:

— Если хочешь знать, наш Андреич такой же, как и ты, токарюга! Только с его квалификацией зарплата у него в разы больше, чем у любого министра! И, как министр, на работу на чёрной «Волге» он приезжает. Вот так-то! Ты это понял?!

А насладившись моим недоумением, он оглянулся на токарей, разинувших от восторга рты, и воскликнул:

— Но я готов с кем угодно поспорить, что и мой вот этот рукастый ученичок в скором времени станет таким же мастером, как Андреич!

Разумеется, никто не принял его вызов всерьёз.

Но я в этот день до общежития добирался пьяным от открывшейся мне на всю оставшуюся жизнь перспективы. Потому что работа токаря представлялась мне увлекательнейшей забавой. Лишь кнуты и уздечки я когда-то мастерил с таким же увлечением, с каким нарезал теперь даже примитивнейшие болты и гайки.

А когда я уволился, дядя Миша не то что руку не протянул на прощание, а даже и не взглянул на меня.

Я же успел к нему привязаться. И потому цех покинул, страдая от его на меня обиды.

Впрочем, в период своего блуждания по свету я вынужден был приобрести опыт расставания с людьми, к которым в буквальном смысле слова прикипал. Тот же капитан, которого сначала я ненавидел за его строгость и полное равнодушие ко всему, что не входило в круг его и наших обязанностей, вскоре стал казаться мне образцом истинного моряка. Так что, когда мне приходилось участвовать после вахты в тайном распитии кем-то припасённой бутылки или даже в более суровых нарушениях корабельной дисциплины, то чувствовал я себя чуть ли не предателем. И даже делился с товарищами своими переживаниями.

— Кэп наш нормальный мужик, — простодушно утешали они меня. — Но не Родине же мы изменили, а всего лишь, пока судно у берега стоит, пару девах заманили на борт.

— А если портовая милиция просечёт? Нам-то ничего, а капитану влетит... — упрямо пытался я своих товарищей образумить.

Рассказы

Все эти мои верноподданнические к капитану настроения на экипаж не действовали. Да и сам я не мог оставаться в стороне от наших тайных и потому необыкновенно притягательных приключений.

А может быть, это только теперь мне кажется, что среди всех моих напрасных свойств была и жажда верноподданничества?

Но в таком случае отчего, в очередной раз «уворовав» колхозную лошадь и пустивши её в галоп, я представлял себя кавалеристом, мчащимся навстречу смерти ради чего-то более важного, чем сама моя жизнь? И калитку я не просто некоей бабе Меланье чинил, а вдове и матери героев, погибших в суровой битве с врагом. Да и стихи я стал пописывать только потому, что горло у меня трескалось от суммарного напряжения всех тех высоких смыслов, которые мне мерещились где-то далеко от нашего, как мне казалось, вечно погружённого лишь в работу и дремоту села. То есть я, видимо, всё-таки ощущал себя человеком, которому оставалось лишь во что-то вполне истинное уверовать и за что-то самое драгоценное побороться.

А когда, вдоволь наблуждавшись по свету, я наконец оказался у стен Кремля, то сердце моё заныло, а в голове зашумела кровь, потому что — вот же она, всему миру видимая Спасская башня, вот же воздел к небу свои бессмертные купола и испытующе на меня глядит Василий Блаженный, вот блестит брусчатка, по которой сам Жуков, принимая Парад Победы, процокал копытами своего белого рысака...

Ну, допустим, приехав Москву для поступления в Литературный институт и впервые добредя до главной площади страны, я ни о чём таком не размышлял, но не менее часа простоял как вкопанный, исподлобья озирая известные мне наизусть святыни.

И можно лишь сожалеть, что в Кремле в это время сидел старичок более ветхий, чем даже дед Яшка в пору моих плотницких подвигов, с трудом одолевающий своим речевым аппаратом все самые главные державные слова.

Однажды в Центральном Доме литераторов писатель Василий Петрович Росляков, с которым я успел подружиться, под рюмку водки вдруг заговорил и о нашем Брежневе.

— Веришь ли ты, Коля, — с ожесточённым своим страданием сознавался он, — если б кто-то на фронте мне сказал, что вынужден буду я ещё и плакать возле телевизора вот такими слезищами (Василий Петрович поднёс к моим глазам две свои в полную ширину растопыренные горсти), что после Сталина сначала самодур, а затем маразматик будут править моей самой великой в мире страной, что на просторах от Тихого океана до Балтики государство наше уже не выкормит бычка на лишний кусок говядины для магазинных полок, то я бы в это не поверил... Да сроду не поверил бы я когда-то, что буду дожидаться, когда этот мешок с трухой из Кремля вынесут... И ты ещё увидишь, какие гниды в Кремле вокруг этой мумии уже завелась... Сейчас они там тихонечко копошатся, а когда они всю власть себе заберут, когда своё мурло тебе покажут, ты их оттуда уже даже дустом не вытравишь!

Но за годы своих благополучных скитаний я нагулял себе столь оптимистический румянец, что все слова о заговорах против моей страны отлетали от моих щёк, как горох. Так что хотя Василий Петрович был более чем в два раза старше меня, слушал я его надрывный глас с таким же сочувствием, с каким много чего повидавшие люди сочувствуют юношам, впадающим в уныние при первом крушении своих надежд.

И всё-таки после этого нашего разговора заставить себя глядеть в телеэкран на Брежнева я уже не мог. И был я рад каждой встрече с Василием Петровичем прежде всего потому, что у него на виду я вдруг наполнялся, как при первом посещении Красной площади, торжественным предчувствием скорой бури.

А когда появился Горбачёв, то росляковский глас: «Ну, повывползали из своих щелей! Повывползали! И что же они творят, что творят!» — уже для меня не оставался

гласом вопиющего в пустыне. И газету «Московский литератор» я, едва став её редактором, сам того не осознавая, сразу превратил в первое оппозиционное издание.

Вот только радость великой победы, которую я в своём нетерпении догонял, сначала скача на привычной к любым тяготам колхозной лошади, затем — поправляя калитку бабе Меланье, затем — свирепо удерживая против штормовой волны старенький сухогруз «Мингечаур», а затем и в качестве восставшего редактора, пережить мне так и не удалось.

Потому, может быть, таким своим теперь уже во всех смыслах напрасным свойством, как верноподданничество, я, едва подвернулся случай, позволил себе насладиться в полной мере.

А дело было так. Должен был я лететь на торжественную церемонию «золотого стыка» в газопроводе «Ямал — Европа». А тогдашний наш вице-спикер Сергей Бабурин, узнавши об этом, заявил мне, что сейчас же позвонит президенту Белоруссии и договорится, чтобы тот со мною встретился. Не в силах придумать, каким может быть у белорусского президента повод для такой встречи, я запротестовал.

— Да ты хоть представляешь, что ты, русский писатель, пожмёшь руку последнему во всей Европе независимому национальному лидеру? — запротестовал и Сергей Николаевич, у которого с белорусским президентом сложились свои отношения на почве их единой иллюзии в виде будущего российско-белорусского Союзного государства.

Поскольку к тому времени я прочитал всё, что можно было прочесть, и о генерале де Голе, изгнанном из Елисейского дворца осёдланными ЦРУ студенческими волнениями, и о непокорном главе Италии Альдо Моро, расстрелянном управляемыми всё тем же ЦРУ «красными бригадами», то возможность вживую увидеть уже действительно последнего политика из этого героического ряда так меня вдруг взволновала, что я отказался от предложения Сергея Николаевича самым решительным образом.

А церемония «золотого стыка» (это когда сварщики, экипированные в новенькую, пока ещё не обмякшую спецодежду, под оркестр и аплодисменты сваривают в трубопроводе последний шов) проходила в открытом поле. И у не успевшего покрыться пылью трубопровода возвышалась трибуна, с которой белорусский президент и московские гости произносили речи, соответствующие столь важному событию, а перед трибуной колыхалось море журналистов и прочих гостей.

Когда услышать с трибуны что-то новое уже не предвиделось, я, дабы насладиться простором чистого поля, решил отойти в сторонку.

Но эта одинокая прогулка оказалась недолгой, потому как вдруг обогнала меня сначала одна группа вооружённых камерами телевизионщиков, потом вторая, потом и третья. Как оказалось, торопились они к небольшой, человек в десять, стайке местных крестьян, подошедших к ограждению и издали за церемонией наблюдающих. Любопытства ради я тоже к ним подошёл.

— То-то от вас, полноправных граждан, президент отгородился... — язвили оробевших перед камерами крестьян московские журналисты. — А всё потому, что диктатор он; всё потому, что за людей он вас не считает!

Такие их речи подозрительными мне не показались, поскольку в ту пору белорусского президента все наши телеканалы ненавидели лютой ненавистью и за его дружество к России, и за его упрямое нежелание войти в подчинение мировому гегемону.

— А ваши правители разве ж не огораживаются? Всем им положено вот так огораживаться, не одному нашему, — виновато стала оправдываться самая пожилая крестьянка.

— Да, но у нас демократия, а над вами вся Европа смеётся, вы теперь самая отсталая страна из-за своего Лукашенко!

Рассказы

— Какой бы он ни был, но он наш... — стала оправдываться и женщина помоложе.

— Да в том-то и дело, что он такой же, как и вы, колхозник! Как может он со своими мозгами руководить не колхозом, а целой страной? — возмутилась журналистка с аббревиатурой НТВ на микрофоне.

— А потому что честного человека люди нечестные всегда принимают за простого... — скорбно рассудили крестьяне.

— Да неужели вам безразлично, что сделает он с вашей страной и какая у вас будет жизнь? — напирала журналисты.

— А какая у нас должна быть жизнь, если мы как трудились, так и будем трудиться, а другой жизни мы себе не желаем...

— Но всё, что он делает, обрекает вас на вечное отставание от Европы! — возмущались журналисты уже не понарошку.

— Зато он наш... — упрямылись крестьянки.

А та, что помоложе, вдруг осмелела и пустилась даже в пространные рассуждения:

— Свой человек если и ошибётся в чём, то мы поймём и потерпим, потому что не со злого умысла он это сделает... Да пусть ошибается он сколько угодно, потому как до Александра Григорьевича у нас такая же, как у вас, демократия была, а жить было невозможно, почти каждая людыночка наша в Москву на заработки уезжала... А теперь, слава Богу, живём хорошо...

— Хлопчики и девчатки, — наконец вступил в разговор и один из мужчин, — мы понимаем, что у вас работа такая, потому на вас не обижаемся, но и на нас, таких да сяких, вы тоже не гневайтесь... Мы люди простые, мы что думаем, то и говорим... Мы вот издали и хоть одним глазком своего президента увидели, и больше ничего нам не надо... А вам если положено внутри загородки стоять, вот и идите на своё место...

И тут крестьяне загомонили уже меж собой. Мол, действительно, откуда им знать, что перед этими телекамерами надо говорить, а чего не надо. Да и демократию эту, «будь она неладна, на хлеб не намажешь»...

Не придумав, как демократию «на хлеб намазать», журналисты огорчённо обозвали крестьян кэгэбэшными подосланцами и дружно устремились обратно к трибуне.

А я остался глазеть на белорусских крестьян, оказывается, похожих на моих российских односельчан не только внешне, а и своим разговором. Ну, не больше их речь отличалась от моей, московской, чем в сёлах Вологодчины или Владимирщины. То есть получалось, что такие же они русские люди, как и я. Да и когда давным-давно расписывал я храм в центре Украины, то женщины из церковной общины даже обиделись на меня за то, что обозвал я их украинками. «Мы руськы!» — возразили они. «А я в таком случае кто?» — «А ты тоже руський, но только ты из москалив!»

То есть, находясь посредине Белоруссии и глядя на горстку её коренных насельников, никак не мог я поверить, что это уже граждане навсегда чужого для меня государства и что их местная спокойная вера в своего президента меня никак не касается, что у Лукашенко нет возможности стать также президентом и моим. При всём том, что в ту пору в Москве всё чаще мне доводилось слышать: «Вот выберем себе Лукашенко, и он в России наведёт порядок такой же, как в Белоруссии».

Хотелось с крестьянами самому заговорить. Но желание моё сказать им что-то доброе и хорошее было столь велико, что я бы, дав волю скопившемуся во мне за время их беседы с журналистами пылу и жару, скорее напугал бы их, чем ободрил.

Уныло поплёлся я к уже опустевшей трибуне. Даже своему потерянному было товарищу, нетерпеливо встретившему меня сообщением, что все уже занимают места за накрытыми в брезентовом шатре столами, особо я не обрадовался. Потому что ис-

тинным чудом в этот день оказался не ещё один трубопровод и не огромный, чуть ли не на полгектара распротёртый вот этот шатёр, а крестьяне, имеющие возможность жить так, как им хочется, и мудро оберегающие право на свою родную жизнь.

Белорусский президент и тогдашний глава «Газпрома» Рэм Вяхирев в шатре прозвонили тосты, а я, досадуя, что не согласился на авантюрное предложение Бабурина, угрюмо слушал.

А что, мог бы теперь спокойно подойти к Лукашенко, сказать: «Я тот самый Дорошенко, о котором вам Сергей Николаевич говорил. И мне просто захотелось от всей души позжать вам руку!» И всё. И ничего необычного в этом нет...

А Лукашенко уже стал пробираться к выходу. И многие даже без помощи Бабурина вставали, руку ему пожимали...

Часть журналистов бросилась вслед за белорусским президентом, чтобы задать свои последние вопросы. Когда я тоже покинул шатёр, они всё ещё его атаковали. А ко мне вдруг подошёл широкоплечий и широколицый мужчина в наглухо застёгнутой на молнию куртке, спросил:

— Вы Дорошенко?

— Да... — сознался я почему-то не совсем уверенно.

— Идите за мной.

О том, что Баурин всё-таки посамовольничал, я догадался только тогда, когда Лукашенко, уже от журналистов отгороженный охранниками, вдруг обернулся в мою сторону и пожал мне руку так же запросто, как это умели лишь мои волгоградские токари.

Из всего, о чём мы очень уж кратко и на ходу перемолвились, я ничего не запомнил.

А потом, оглохнув от стремительно вращающегося круга лопастей взлетающего президентского вертолётa, я цепенел от страха, что вертолёт рухнет на землю.

Ах, как же неуклюже взлетают эти тяжеленные вертолётy!

Я за свою жизнь успел привыкнуть, что они не взмывают стремительно и в единый миг, как самолётy, а от отсутствия начального равновесия рискованно покачиваются и как бы даже всем своим корпусом вздрагивают. Но каждое такое же обыкновенное покачивание и вздрагивание лукашенковского вертолётa раскалёнными иглами почему-то впивалось в меня.

Может быть, я даже по своему обрётённому на флоте звериному свойству под президентским вертолётом по-собачьи скулил. А едва вертолёт уверенно устремился вперёд, я от верноподданнического восторга стал ещё и покашливать. Но — не зря бодливой корове Бог рогов не даёт!

Последний раз я вполне замечательно рыдал в далёком детстве, чтобы перебороть какое-то очередное родительское вето. А тут я лишь покашливал и постанывал, хотя понимал, что вот так диковато я от восторга плачу.

А верноподданническое чувство, никогда до той поры мной по-настоящему не испытанное, оказалось к тому же столь замечательным, что я бы от восторга и умер, если б остатками своего сознания не отдавал себе отчёта в том, что Белоруссия всё-таки страна не моя...

...Верноподданнический восторг начинает меня душить до сих пор, когда из вагонного окна я сначала угрюмо гляжу на наши смоленские поля, давно не бритые и не стриженные, наглухо заросшие бурьянами и подлеском, а затем, воспрянув, гляжу и на аккуратно возделанные, словно бы отличницами начертанные, белорусские нивы (ну могут же бывшие советские крестьяне землю свою принарядить, если их продовольственную заботу воспринимать так, как это делается во Франции или Германии, а не в России и не на просторах Африки!); или когда брожу я по Минску — тихому да мирному, чисто умытому, а главное — для жизни не опасному; или

Рассказы

— когда в одном из белорусских колхозов, строениями похожем разве что на новорусскую нашу Рублёвку, увидел я и бассейны для плавания, и спортзалы, и клубы для развития у местных детишек разного рода творческих наклонностей.

А глава этого колхоза (тоже, кстати, писатель) то жаловался нам на белорусские законы, удерживающие закупочные цены на социально значимом уровне, то вдруг хвастался:

— И, значит, чтобы выкрутиться, завели мы собственное обрабатывающее производство. Так что поставляем на рынок готовые продукты, а не дешёвое сырьё. И даже мороженое наше за рубежом покупают охотно, и вот ещё чипсы придумали мы из яблок не канцерогенные...

В тот раз наша писательская организация проехала аж до Бреста.

Одно за другим представляли перед нами сёла, самые невзрачные из которых в России могли бы нас лишь восхитить. Над многими населёнными пунктами возвышались более чем выдающиеся строения, которые, как оказалось, «новые белорусы» всё-таки предпочитают возводить там, где выпало им родиться.

— А потому что этим бизнесменам людей бояться незачем, потому что нормальному человеку среди своих жить лучше, чем абы где, — поясняли нам белорусские наши коллеги вполне обыкновенными голосами.

Я вспомнил, как и меня в моём родном селе величали Иванычем только потому, что вдовам плетни я поправил. А уж хозяевам этих дворцов ничего не стоит отщипнуть от себя денежку на то, чтобы своё родное село вымостить плиткою, и чтобы сделали это местные мастера, а не гастарбайтеры, как в Москве. (Между гостиницей «Москва» и Историческим музеем, перед которым я тоже когда-то трепетал, плитка за одну зиму покорибилась такими буграми, каких ни в одном белорусском селе я не увидел!) Или — чтобы не какому-нибудь средиземноморскому городу занавесить всё море своею миллиардною яхтою, а дать немного на жизнь старухе-землячке и быть собою довольным и себя ощутить воистину большим Иванычем, чем все Иванычи, вместе взятые.

Пытаясь скрыть от всех своё очередное верноподданническое удушье к главе не моего государства, всю дорогу я просидел, отвернувшись к окну, за которым жила-была хоть и не моя, но всё ж таки драгоценная для меня Белоруссия.

Только жене я сознался, что являюсь тем редким типом человека, который наивысшим и даже сладостным для себя благом считает возможность стать частью огромной толпы, содрогающей планету приветственными криками в честь своего истинного национального президента, лидера, вождя, монарха и хоть кого угодно, лишь бы своего, такого, как я сам, только гораздо большего, чем я, более, чем я, настоящего...

Ну, разумеется, не совсем так это было. Жене я всего лишь сказал, что, мол, уже невыносимо ощущать себя частью родной российской толпы, над которой простирается абсолютная нравственная пустота.

И, напомнив обо всех тех известных нам из истории дикостях, в которые впадали народы древние во времена такого же, как ныне у нас в России, нравственного разложения, с воодушевлением процитировал Хаммурапи:

— «Тогда-то меня, Хаммурапи, называли по имени, дабы Справедливость в стране была установлена, дабы погубить незаконных и злых, дабы сильный не притеснял слабого...» То есть высоких помыслов был не лишён даже этот царь, не знавший Евангелия, не имевший возможности прочитать столько книг, сколько мы прочитали! И почему я должен смиряться с этими современными либеральными гусеницами, у которых и душа и мозг являются всего лишь придатками их желудка, почему я должен какому-то ушлому Познеру поверить, что либералы поедают меня не от алчности, а с некими очень уж прогрессивными намерениями?

— Тебе надо было родиться во времена толстовского Пьера Безухова, — утешила меня жена.

— Не знаю, как мне, а уж Рослякову точно надо было жить в другое время, — вспомнил я после монаршего Хаммурапи и о простом фронтовике, о блистательном, ныне напрочь забытом писателе Василии Петровиче Рослякове.

Он умер в роковом 1991 году, не в силах расстаться со своей напрасной надеждой на то, что наше Отечество, спасённое его поколением от чумы коричневой, спасётся и от чумы либеральной.

Наверно, я тоже с такою же надеждой до сих пор не расстался. Но только живёт она во мне вопреки рассудку, лишь инстинктивно, как та песня, которую когда-то в своём ночном одиночестве я выскуливал, удерживая судно против штормовой волны.

Это Достоевскому суждено было догадаться лишь о том, что если Бога нет, то всё позволено. А нам довелось понять ещё и то, что если Бога нет, то напрасным является даже и то, что нам уже самую сутью нового времени не позволено, что, как в тёмном чулане, таится и теплится в нашей душе вопреки всему.

РАССКАЗ О НЕНАПИСАННОМ РАССКАЗЕ

Сочинителем я оказался с самых ранних лет. Хотя об этом и не догадывался. То есть, едва научился я говорить с должной бойкостью, сразу стал всех атаковать подробными пересказами якобы увиденных мною фильмов и якобы услышанных мной историй про лошадей и собак или, например, про кошку, которая на самом деле была не кошкой, а, допустим, ведьмой. Старший брат пытался уличить меня во вранье. «Да сроду не показывали у нас в клубе такого фильма!» — заявлял он. Мать принималась защищать меня: «Мало ли какие фильмы бывают! Пусть рассказывает!». Отца же мой бесконечно фонтанирующий талант сочинителя погружал в бессловесную и жалостливую ко мне печаль.

А вот наш сосед Максимыч, хромой и одинокий, предоставлял моему раннему вдохновению абсолютно полную свободу. И мы с ним сошлись. Едва он появлялся у себя во дворе или на огороде, я мчался к нему. И начинал рассказывать. А он слушал. И даже задумчиво поддакивал мне: «Да... Ох, Боже ж мой... Ох, как же оно повернулось...»

В таких слишком уж благостных условиях остановить меня было невозможно. Он шёл по воду, а я — рядом с ним. Он шёл в дом, я — за ним. Он ложился на лавку передохнуть, а я присаживался рядышком на табурет.

Лишь в редких случаях он прерывал меня, давал трёшку и просил: «А доскачи-ка до магазина, а потом доскажешь...» Я, как марафонец, устремлялся к магазину. Там толстая и глазастая продавщица спрашивала у меня: «Это Максимыч тебя опять прислал?» — «Максимыч», — сознавался я. «Тогда я на сдачу дам конфет!» — важно принимала она решение в мою пользу. Максимыч же, когда я, вручив ему водку, докладывал и о конфетах, начинал на меня ворчать: «Хватило бы сдачи и на подушечки тебе, и мне на пачку «Прибоя». А я, дабы нашей дружбе ничего не помешало, в следующий раз умолял продавщицу дать на сдачу ещё и папирос, но она оставалась неумолимой: «Хлопчик ему в магазин бегаёт, а он подушечками хочет отделаться?» — «У него нога болит!» — защищал я Максимыча до последнего, потому как дешёвые подушечки были такими же сладкими, как и более дорогие «Мишки». Но и эта вечная интрига продавщицы против нашей дружбы не могла помешать Максимычу быть наиболее верным почитателем моего сочинительского таланта. «А-а, — утешал меня Максимыч, — твои такие годы, что без конфет ты не проживёшь, а у меня и самосад есть!» От водки у него глаза сначала округлялись, затем слушал он меня уже зажмурившись, затем, объявивши, что сквозь сон слушать

Рассказы

меня ему особенно приятно, он засыпал. И закрытые его глаза давали мне сначала возможность испытать чувство уже абсолютно свободного творческого полёта, а потом я, конечно же, мчался домой.

Однажды к моим родителям пришла учительница, чтобы записать меня в школу.

— Сколько будет один прибавить два? — спросила она у меня очень строго.

— Трли! — ответил я и добавил: — А ещё я читать умею!

— Ну-ка прочти вот здесь! — приказала учительница.

— Букварь! — выпалил я.

— О-о, — сокрушённо сказала моей матери учительница, — придётся везти его в поликлинику. И там пусть ему уздечку под языком удалят. Иначе парень будет всю жизнь картавить!

Школьные учителя тогда пользовались столь непререкаемым авторитетом, что отец, до этого на мою картавость не обращавший особого внимания («все они сначала то картавят, то шепелявят, а потом же и перестают!»), принял решение отвезти меня в поликлинику уже на следующий день. А я воспринял эту новость как самое главное в своей жизни событие.

Дело в том, что мой старший брат, который в райцентре побывал уже не один раз, рассказывал мне, что там можно купить и съесть «мороженое», похожее на сладкий снег.

— А почему же ты мне не привёз ни разу? — не поверил я.

— Да потому, что его надо съесть очень быстро! Иначе оно растает и будет похоже на обыкновенное молоко, только сладкое!

— А ты поклянись, что про снег не придумал! — продолжал я не верить.

— Клянусь же тебе чем угодно!

И я мечтал побывать в райцентре. А если бы выяснилось, что про «мороженое» брат соврал, то я бы не только огорчился, но и, может быть, обрадовался. Потому что я бы брата, вечно старшего, смог уличить не только в чудовищной лжи, но даже и в клятвопреступлении.

Утром, пока отец готовил велосипед к очень уж дальней нашей поездке, я, тщательно умытый, одетый в новую рубаху и в непорванные штаны, отлучился со своего двора к Максимычу.

— Ты, что ли, жениться собрался? — удивился он моему нарядному виду.

— В поликлинику меня везут! — похвастался я.

— И что у тебя заболело?

— Уздечку под языком будут удалять.

— О-о-о! — похвалил он меня. — Как же все тебе завидовать теперь будут!

Пытаясь понять, почему мне будут завидовать, я потрогал пальцем у себя под языком и только теперь впервые встревожился:

— А не больно будет?

И тут на Максимыча что-то нашло. Оглядев меня с ног до головы, он вдруг сказал:

— Боюсь я только, что это не уздечку, а язык тебе будут отрезать!

Я изучил его хитро сощуренные глаза и не поверил:

— Ты обманываешь!

— А посуди сам: как ты в школу пойдёшь, если не умолкаешь ни на минуту? В школе положено не самому болтать, а учительницу слушать!

И в этот миг меня позвала мать. Максимыч только и успел шепнуть мне на ухо:

— А на самом деле ты ничего не бойся, это я так шуткую...

Но сиделся я на специальную дощечку, которую отец надёжно прикрепил к велосипедной раме, в напряжённом размышлении о том, что из сказанного Максимычем является правдой.

— Ты потихоньку езжай, а то я буду переживать! — строго-настроено приказывала отцу мать.

— Не бойся! — привычно успокаивал он её.

Я слушал эти их обыкновенные переговоры и убеждался, что относительно моего языка Максимыч вроде бы как действительно пошутил.

А скоро наше село осталось далеко позади и мы поехали по простору. Вдоволь нагнав себя по сторонам, я вздохнул, принялся рассказывать отцу чистую правду о том, как брат чуть не поймал хорька на петлю из волоса, специально выдернутого из лошадиного хвоста.

— Сроду никто не поймал хоря ни на петлю, ни на что другое, — возразил мне отец.

Часа через два пути въехали мы в райцентр, оказавшийся таким же, как наше село, только большим.

Потом, изрядно уставшие, мы отдыхали в приятной прохладе поликлинического коридора.

Наконец нас позвали к врачу. Я весьма смело вошёл в кабинет. Пока врач делала какие-то записи, оглядел её приманчиво сверкающие инструменты, среди которых особое впечатление на меня произвели шприцы.

— Ты не бойся, — сказала мне врач и ласково улыбнулась. — Я только чикну, а ты ничего не заметишь... А пока поиграй, вот коробочку я тебе дам какую красивую...

Коробочка у меня превратилась в машину. И, проехав по краю стола, я съехал на пол. Далее машина моя догудела до двери. А опомнился я только тогда, когда пролетал меж густющих кустов сирени большого поликлинического парка.

— Коля! Где ты? — доносился до меня жалобный, полный испуга голос отца. Но в кустах просидел я до тех пор, пока его голос, то приближаясь, то удаляясь, не перестал быть слышным.

Мне стало отца так жалко, что даже слёзы через нос у меня потекли. Размазывая их по всему лицу, я шептал:

— Ага... Не ему-то больно будет...

А вспомнив всё-таки очень уж ласковое лицо врачихи, я ещё сильнее засомневался в вероятности отрезания моего языка. Но опять же, представить, как чиркнет она по уздечке и как я не закричу от боли, мне было невозможно.

Пока слёзы в моём носу не высохли, мне казалось вполне естественным, что домой я уже не вернусь. Но потом я вдруг догадался о самом нестерпимом — о том, как уже все будут плакать и меня искать. И, полный отчаянья и неразрешимых противоречий, я сначала стал глядеть в сумеречное, без травы и к жизни совершенно непригодное пространство под густыми зарослями сирени, а затем бежочком устремился в просвет, сквозь который виднелась ближайшая улица. А по этой улице я шёл куда глаза глядят.

И через какое-то время навстречу мне попался грузовик, который, впрочем, не проехал мимо, а резко затормозил.

— Иваныч! — услышал я голос водителя. — Ты ли это?

— Я это... Я! — отозвался я с надеждой.

— А если это ты, то что тут делаешь?

— Гуляю я тут! Что, нельзя мне уже и погулять тут? — я чуть было опять не расплакался от обиды на слишком уж весёлого шофёра.

— А почему один гуляешь в такой далечине? — опять не поверил он.

Лишь после того, как рассказал я обо всём, что со мною приключилось, водитель протянул свою ручищу и подхватил меня в кабину.

— Но теперь будем искать твоего отца, а то разрыв сердца у него сотворится! — объявил он решительно. И тут уж я слезам дал полную волю.

Рассказы

Отца мы увидели прежде, чем шофёр принял решение о том, в какой стороне его искать.

С лицом, с которого и глаза, и нос, и рот с перепугу словно бы расползлись в разные стороны, отец мчался на велосипеде очень быстро. А увидев меня, уже вылезшего ему навстречу из кабины, вмиг поскучнел и поехал помедленней.

— Я согласен резать уздечку... — пролепетал я, когда отец остановился чуть в стороне от нас.

Но он, даже не взглянув на меня, достал из кармана платок и принялся протирать свою взмокшую шею. А покончив с этим, он скуповато приказал:

— Всё! Садись на раму, и поехали домой!

Шофёр предложил:

— Иван Григорьевич! Я тоже домой еду! Кидай велосипед в кузов и садись в кабину!

— Пожалуй что и сяду, — согласился отец. — А то аж колени трясутся, так накатался тут.

По дороге домой шофёр рассказал моему отцу всё то, что услышал от меня. А отец, внявши его присказкам («Григорич, это ж хлопцы, они ж за себя должны постоять»), лишь молча прижал меня к своему горячему животу.

А дома он сам рассказал о нашем приключении моей матери и всем остальным. Мать потерянно гладила меня по голове.

Чтобы хоть как-то оправдаться, я сознался:

— Я думал, что врачаха язык отрежет...

Мать стала ругать Максимыча:

— Небось это он тебе наплёл!

Но я Максимыча не стал выдавать.

Вечером, когда мы отужинали, мать спохватилась:

— А почему наш Коля молчит? Ты бы рассказал, что видел там в райцентре.

Я вспомнил мёртвые сумерки под кустами сирени, и мне даже показалось, что под кустами этими невидимо пряталось вместе со мною нечто совсем уж жуткое (даже запоздалые мурашки при мысли об этом чудище пробежали у меня по спине), но не знал, с чего начать этот свой, может быть, уже самый страшный рассказ.

Потом даже и старший брат ко мне пристал:

— Ну-у-у, хотя бы кино своё Расскажи!

Но и кино у меня уже не придумывалось.

А на следующий день меня позвал к себе Максимыч. И завёл к себе в дом. Там рядом с нераспечатанной бутылкой на столе располагался огромный газетный куль с конфетами и пряниками.

— Угощайся! — виновато взмахнув рукой, предложил Максимыч. Я, не мешкая, налёг на конфеты. Потом стал их поедать вприкуску с пряниками.

— Ты бы передохнул и рассказал что-нибудь, — попросил Максимыч. — А конфеты не пропадут!

Отдышавшись от конфет, я принялся с превеликим старанием настраиваться на рассказ. Но в голове у меня было пусто.

— Ладно, я потом расскажу, — пообещал я.

Однако так само получилось, что с той поры рассказов от меня уже никто не услышал.

Сначала это всех не на шутку встревожило. Потом даже Максимыч стал привыкать к случившейся во мне перемене. «Ты заходи, — просил он меня. — Посидим мы хотя бы и молча».

Помню, как однажды на пасхальное разговение, весьма отяжелев у нас за праздничным обедом, позвал он меня, уже школьника, «немножко погомонить».

— Без тебя я радио попробовал включить, а в нём, наверно, проводок отошёл... Тоже ведь умолкло! — пожаловался он и улёгся на свою лавку.

В тишине я впервые по-настоящему разглядел на простенке широкую да чёрную тарелку радио, увидел давно поржавевшие, но пока ещё бойкие ходики, увидел фотографии за мутными стёклами рам, затем увидел сиротливый цветок «семейной радости» на подоконнике, ножную швейную машинку «Зингер», лежанку, накрытую для красоты цветастым лоскутом ткани...

Пучок света сочился сквозь щель между занавесками, укромно рассекал комнату пополам и упирался в цветастое покрывало на лежанке...

И так же укромно сопел уснувший Максимыч...

И три красных пасхальных яичка лежали на столе точно так же, как и Максимыч на своей лавке...

Лишь маленькие цветочки «семейной радости» сами собою, ни к чему не причастно, розовели на подоконнике...

Я впервые в своей жизни сидел смирно и тихо, даже не пытаюсь понять, зачем сижу, долго ли вот так буду сидеть и смогу ли прожить всю свою жизнь, вот так сидючи...

...Через сколько-то лет, когда Максимыча уже не стало, я вспомнил и ходики, и покрывало на лежанке, мерцающее под тонким и прямым лучом...

И показалось мне, что если я сумею написать о том, как когда-то тихонечко сидел я рядом со спящим Максимычем и глядел на лучик света, то это будет самый драгоценный в мире рассказ.

Почему самый драгоценный — не знаю.

Но до сих пор рассказ этот у меня не получился, хотя его написать пытался я много раз.

Но зато всегда, как только я присаживаюсь к столу вспоминать об укромном лучике, то сразу же словно бы погружаюсь в сладкую и счастливую дрему. И всё житейское, что душу маяло, тут же забывается.

А иногда мне кажется, что если б однажды рассказ этот у меня получился, то ничего другого я бы уже не написал. Потому что ушла бы та самая тихая и светлая тайна из жизни, бесконечно разгадывая которую мы вдруг начинаем понимать многое прочее, — то, о чём, может быть, никогда и не задумываемся.

Игорь Кудрявцев



ВЫЙДУ К ОБЛАКУ ИЗ ДОМА Я...

У КРЫЛЬЦА

Я пережил земные дни отца...
Теперь стою у звёздного крыльца...
Ступени вверх летят навстречу мгле,
За мною пыль кружится – не пыльца,
И нет ступеням – Господи – конца,
И поручни, как вербы на столе,
Оставлены отеческой Земле.

ПАСХА

триптих

Мы с тобой колокольные слуги...
Звуки меди, как вольные струги,
Уплывают, теряясь вдали, –
Над садами заречной округи,
Над грехами беспечной Земли...
А в Соборе – пасхальные свечи
Полыхают, как звёздное вече...

Кудрявцев Игорь Николаевич – член Союза писателей России, лауреат Премии Ленинского комсомола, автор нескольких поэтических сборников. Автор текстов к песням Вячеслава Малежика. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Я был подручным звонаря...
И, медь раскачивая власть,
Вдруг осознал такую власть,
Что стала вечною заря,
Что отдалённо и не зря
Звучало пенье петуха,
Грех выбивая из греха...

Я был однажды звонарём...
И в две руки до первых слёз
Я медь раскачивал всерьёз,
Поскольку были мы вдвоём,
И, нашей радости вдогон,
Летел сердечный перезвон.

МЕЧТА

Я вышел из тёмного круга на свет,
А проще – родился... Мне тысяча лет.
Я эту дорогу с мечтою роднил,
Я силы в копилке столетий копил,
Чтоб Ангелы Божьи – престолы мои –
Позвали меня на Крещение Любви.

ВЕРА

Дети Воскресной школы
Пели воскресным утром
В храме, одушевлённом
Душами прихожан.
Песня летела к небу,
Детство светилось Верой,
Вера светилась детством, –
Значит, листая жизнь,
Вера уходит в детство,
После уходит в юность,
После уходит в зрелость...
Дальше – страницы нет,
Дальше – Господне утро,
Дальше – за далью – Вечность, –
Мудрая бесконечность,
Песенный детский свет.

Выйду к облаку из дома я...

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Сердце хочет справедливости
И под солнцем, и во мгле.
Сердце хочет этой милости,
Как горбушки на столе.
Я же к памяти иду,
Я – у детства на виду.
Там нарядно и пригожисто,
Там парадно и гармошисто,
Там станица не замаяна,
Там душа опервомаяна,
Там несёт меня торжественно
Легкоутреннее шествие,
И в руке моей сопливости –
Красный шарик справедливости.

СЮЖЕТ

Были крылья невесомые,
Стали крылья тяжелы...
Эти чувства незнакомые –
Словно поздние углы...
Выйду к облаку из дома я,
Память выдохнет сюжет,
Где мечта реки изломана
Под мосточком наших лет.

ПОМОГИ

В окна любви стучали
С яростью на лице –
Ранняя сласть вначале,
Поздняя страсть в конце.
Тихо навею сердцу:
«Друг мой, благослави,*
И помоги усердству
Нежности во крови,
Да помоги соседству
Разума и любви».

*Слово приводится в авторской интерпретации.

БОРИСУ ПРИМЕРОВУ

Мы с ним любили девушку одну,
Одну на всю весну и даже лето...
Она досталась утреннему сну,
Ещё – любви рифмованной поэта.
Что с ней – не знаю... Друг мой – в небесах...
Я позволю ей, слышишь, даже в небыль...
А на Земле чудит зелёный стебель...
И не положен памяти молебн...
Но мы тебя отыщем в облаках
Глазами, поседевшими в летах,
И наши взгляды встретятся на небе.

ЗА ОКНОМ

Жалея птицу, гляну вверх
И отыщу в полёте драму...
Старею, что ли?... Жалко всех,
Как будто – плачущую маму...
Но стыдно, право же, молчком
Жалеть о ком-то сквозняком
И знать, что море молоком
Не... не... не... не переиначишь,
Что жизнь – как дом, а за окном
Ты о любви по-детски плачешь.

НЕ К ПОРЕ

Ах весна среди зимы –
Легкоцветье.
Наши чувства – это мы
На рассвете.
А пока что во дворе
То ли щебеть,
То ли кружит на заре
Снеголебедь.
Мы с тобою дети сна,
Гости чуда.
Мы – из утра, а весна –
Ниоткуда...

Выйду к облаку из дома я...
СЛОВО ИЗ ПЕСНИ...

ПРЕДОСЕНЬЕ

Пускай у лета на краю
 Мои просторы в запустеньи,
 Я ничего не утаю,
 Зайдя в обитель предосенья.
 Пускай далёкое жнивье
 Горчит, как память о цветенье,
 Я подарю тебе моё,
 Моё, – ты слышишь? –
 предосенье.

Припев:

Предосенье, предосенье –
 Переправа у межи.
 Предосенье, предосенье –
 Переправу удержи.
 Предосенье, предосенье –
 Птицы к югу не летят.
 Предосенье, предосенье –
 Не студи вечерний сад.

Где вишня тычется в лицо,
 И даже осенью весенне
 Скрипит надёжное крыльцо,
 Встречая наше предосенье, –
 Там юность окликом верну,
 Там у любви глаза оленье,
 Там из колодца зачерпну
 Небесный лучик предосенья.

Припев

НЕ СПУГНИ

Под снеговойный пляс,
 Что за окном кружится,
 В комнате свет погас,
 Высветив наши лица.
 Рядом глаза твои
 Цвета умытой вишни.
 Даже свеча любви
 Будет сегодня лишней.

Припев:

Это свеченье лиц
 Ты не спугни, как птиц,
 Это свеченье душ
 Ты сохрани от стуж.

Хочешь, скажу «Люблю»,
 И повторю некстати.
 Хочешь, вино пролью
 На дорогое платье.
 Гляну позёмке вслед, –
 Края зимы не видно...
 Небо включает свет,
 Господи, как обидно.
 Припев

ЗАБЕГАЙТЕ, КАВАЛЕРЫ

Буря яблоки срывает
 И бросает их в окно.
 Время тает и не знает,
 Что оно поделено
 На столетия и эры,
 На добычу и песок...
 Забегайте, кавалеры,
 К даме сердца на часок.

Я найду в степи ромашку,
 У которой в лунный срок,
 Закружив мою Наташку,
 Любит каждый лепесток.
 То столетия, то эры,
 То добыча, то песок...
 Забегайте, кавалеры,
 К даме сердца на часок.

Я заплачу нараспашку,
 Оттого, что в лунный срок
 Улетел, забыв ромашку,
 Лебедёнок-лепесток.
 То столетия, то эры,
 То добыча, то песок...
 Забегайте, кавалеры,
 К даме сердца на часок.

Людмила Малюкова



«ГОЛОС ПРАВДЫ НЕБЕСНОЙ ПРОТИВ ПРАВДЫ ЗЕМНОЙ»

(По страницам жизни и творчества М.Цветаевой)

Тёмен жребий русского поэта.

Неисповедимый рок ведёт...

М. Волошин

История русской поэзии не знает счастливых судеб. Но самая трагическая судьба в ней, пожалуй, — Марины Цветаевой. Когда перечитываешь страницы её творчества, невольно возникает образ поэта огромного психологического напряжения, предельно открытого, мятежного и виртуозного, берущего небывалые высоты стихотворной техники и проникающего в сокровенные глубины человеческого духа. Вероятно, поэтому и сегодня её хочется постигать, цитировать, сопрягать с нашим апокалиптическим временем. В ней удивляет и поражает решительно всё: склад мыслей, оригинальность суждений, магический дар предвидения, мастерство образов и — жизненная участь, включённая в эпохальные катаклизмы века.

В 21 год, ещё не известной российскому читателю, она предсказала судьбу своим стихам: «Разбросанным в пыли по магазинам / (Где их никто не брал и не берет!), / Моим стихам, как драгоценным винам, / Настанет свой черёд».

Дочь известного профессора искусствоведения, основателя Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Первопрестольной столице, и ученицы Рубинштейна, урождённой Мейн, натуры одарённой и романтической, М. Цветаева очень рано почувствовала одиночество и трагический надлом души. Американская исследовательница Лили Фейлер, проведя психоанализ её личности, обнаружила в ней две силы, формировавшие жизненную судьбу: «болезненный нарциссизм» и «депрессию», которые стали следствием глубокой раны, нанесённой ей ранней смертью матери. Если от депрессии, питающей стихи, у неё была защита в «напряжённости и

Малюкова Людмила Николаевна – критик, литературовед, член Союза писателей России, доктор филологических наук, автор монографий-исследований по истории русской литературы. Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.

«Голос правды небесной против правды земной»

самоуничтожении, слитыми с природой, любовью и болью, гневом и одиночеством», эта же страсть «разрушала её жизнь» — к такому обобщению приходит автор книги о ней (Лили Фейлер. Марина Цветаева. USA, 1994. С. 10). Она рано почувствовала себя самостоятельной личностью: не достигнув и семнадцати лет, одна отправляется в Париж, чтобы прослушать курс лекций по старофранцузской литературе.

Её первые поэтические книги: «Юношеские стихи», не опубликованные при жизни, «Ночной альбом» (1910), «Волшебный фонарь» (1912), «Из двух книг» (1913) — наполнены элегическими обращениями к матери; это драматический исход «недополученного» тепла души родственной и жаждущей сопереживания («И матери каждой, что гладит ребёнка, / Мне хочется крикнуть: «Весь мир у тебя!»). Вероятно, эта душевная «недополученность» немалую роль сыграла и в появлении уже в раннем мире поэта романтических кумиров, исполненных мятежного духа и героического протеста: Ростан, княжна Джаваха, герои Отечественной войны 1812 года, Мария Башкирцева, лейтенант Шмидт. Портреты Наполеона и его сына («Орлёнка») висели на стене в её комнате вместо икон.

Н. Еленев, впервые встретивший М. Цветаеву за год до начала войны 1914 года, в её бытовом устройстве увидел абсолютное отсутствие «земной косности», а о поэзии писал: «Её творческий дар выходил за пределы художественной мысли и мировосприятия данной эпохи. Этот дар не был похож ни на женское повседневное возможное обаяние, ни на гедонистическое переживание извечного зова красоты. Строй форм и строй идей... открывал непечатую новь» (Н. Еленев. Кем была М. Ц.? // Грани. 1958. № 39. С. 141–142).

Бунтарский дух очень скоро ворвался не только в стихи М. Цветаевой, но стал и жизненной позицией: «безбожие» открылось как ошеломляющее откровение, а политика была отринута на всех уровнях. «За власть я в мире не борюсь», — скажет она в стихотворении «Идите же! — мой голос нем...», а в письме В. Розанову 7 марта 1914 года напишет: «Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы молиться и покориться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить» (М. Цветаева. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6. Письма. С. 120). В стихах со всей прямотой души она будет утверждать: «Заповедей не блюла, не ходила к причастью».

Обращает внимание и то, что с самого начала и до конца мир творчества М. Цветаевой не имеет ни географических, ни этнических границ: он — поэтический и определяется мерой творческой энергии и любящей души («Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под окном», — заметит она Е. Тараховской). Этот гражданский универсализм со временем будет меняться. Рядом со скептическими строками: «Мне совершенно всё равно — / Где совершенно одинокой...» появится страстная горечь признания: «Россия, моя Россия, / Зачем так ярко горишь?» (С. 461). Но это произойдёт уже вдали от родины, в период эмиграции в Париже, а до 1922 года, времени отъезда за рубеж, всё в её творчестве предельно обострено, глобально раздвинуто, границы пространств и времен сопряжены. Неизменным останется лишь мотив «бездомья», независимый от времени. Особенно рельефно он начнёт звучать в цикле «Стихи о Москве» (1916), в которых Первопрестольная объявляется «огромным странноприимным домом», объединяющим всех сирых и обездоленных: «Всяк на Руси — бездомный. / Мы все к тебе придём». Именно это чувство бесприютности и единения вокруг столицы рождает идею высокой любви и священной трепетности: «И льётся аллилуйя / На смуглые поля. / — Я в грудь тебя целую, / Московская земля!»

М. Цветаева постоянно обращается «через сотни разъединяющих лет» и вёрст к легендарным кумирам души и сердца так, как будто они совсем рядом и с ними можно вести диалог о времени и тайнах творчества, как, например, с Байроном или Державиным («Я думаю о полутёмном зале, / О бархате, склонённом к кружевам, / О

всех стихах, какие бы сказали / Вы — мне, я — Вам»; «Что вам, молодой Державин, / Мой невоспитанный стих!»). Неординарность характера, героизм, сила духа как бы внезапно открывшегося персонажа нередко становятся теми «энергетическими зарядами», которые создают экстагическое поле лирическому переживанию. Среди них ожившая гравюра войны 1812 года, вызвавшая бездну неожиданно нахлынувших неутолимых чувств: «Я видела, Тучков-четвёртый, / Ваш нежный лик. / И Вашу хрупкую фигуру, / И золотые ордена... / И я, поцеловав гравюру, / Не знала сна...» («Генералам двенадцатого года»). Но вся эта безмерность, как правило, сопрягается с неизбежностью земного ухода, элегический мотив которого интенсивно начинает звучать уже в эпитафии «Идѣшь, на меня похожий» со строкой-рефреном «Я тоже была, прохожий», названной Л. Аннинским «гениальной» (Л. Аннинский. Красный век. М., 2009. С. 157). На крайне элегической ноте завершается стихотворение «Байрону»: «Я думаю ещё о горстке пыли, / Оставшейся от губ и глаз. / О всех глазах, которые в могиле. / О них и нас». При этом интонационная вариативность может смешаться, как, например, в заключении стихотворения «Генералам двенадцатого года», где мажорные тона вносят некоторый световой эффект: «Вы побеждали и любили / Любовь и сабли острие — / И весело переходили / В небытие». Но суть безмерного трагизма остаётся.

В результате магистральной темой творчества М. Цветаевой 1910-х годов определяется тема любви и смерти. Она формирует характер мятежный, бескомпромиссный и открытый, в котором воплощение «рыцарства» становится органической мерой служения высоким идеалам и преодолением душевного надрыва. Рядом с легендарными героями появляются ориентиры «современного образца». В этом плане посвящение «Сергею Эфрону» в их художественной панораме особенно характерно, так как в «идеале» накладывает печать на всю творческую и жизненную судьбу поэта. «Внутренний» портрет Эфрона воссоздан патетически и лапидарно:

*В его лице я рыцарству верна, —
Всем вам, кто жил и умирал без страха.
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.*

Автор книги «Скрещение судеб» М. Белкина о сотворении «идеальных» образов утверждала: «Главное в жизни М. Цветаевой было творчество, стихи, но стихи рождались от столкновения её с людьми, а людей этих и отношения с людьми она творила, как стихи, за что жизнь ей жестоко мстила» (М., 1988. С. 10). Об этом М. Цветаева напишет и в письме к В. Розанову: «Я не делаю никакой разницы между книгой и человеком, законом и партией. Всё, что люблю, люблю одной любовью» (Т. 6. С. 120).

В основу её поэтических характеров нередко положен приём антиномии. При этом острота противопоставлений в них сопрягается с такой силой, что создаёт тип предельного напряжения, где нет места покою и тишине. Так в образе «музы плача, прекраснейшей из муз» из цикла стихотворений «Ахматовой» в то же время неожиданно открывается и «шальное исчадие ночи белой» («От ангела и от орла в ней что-то было»). В соотношении двух неоднозначных тонов представлен и образ поэта в «Стихах к Блоку»: «В лёгком щелканье ночных копыт / Громкое имя твоё гремит». И сама лирическая героиня — воплощение «льда и пламени», сопряжённость которых рождает неистовый порыв и трагический надлом. «Во мне клокочут кровь и дух!» — это откровение станет синтезирующим во всём творчестве поэта, потому что его миром правят «жестокая любовь и каторжная страсть», «страсть цыганской разлуки». «Этих рук не разведу. / Лучше буду, / Лучше буду — / Полымем пылать в аду!» — такие строки звучат как магическое заклинание. Между тем лирическое «я» выступает в роли самых гонимых и мятежных персонажей: Царь-Девицы

«Голос правды небесной против правды земной»

— беззаконницы, чернокнижницы, бродяги, «родства не помнящей», нищей царицы, острожника, рвущегося в последний миг вдохнуть желанную волю даже на условиях смирения и покорности:

*Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!*

Сотворённый мир М. Цветаевой объединяет самые разнообразные «персоналии», попадающие в сферу её обозрения. В нём нет деления на «судимых» и «несудимых»: все и всё, включая и лирическую героиню, подчинены и подотчётны единой Высшей воле. При этом свой грех она не отделяет от людского. Но все её обращения направлены не к Богу, а к земле, населённой страстями и радостями человеческого рода, с его греховностью и неординарностью: «Господом данными мне чувствами — всеми пятью». Оттого так экспрессивны и откровенно пронизывающи поэтические строки:

*...Вы, сопреступники! — Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, —
Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!*

Эта любовь всеохватна, огромна и жгуча, — нередко жертвенна. Всё в ней — на крайнем пределе, как в последний миг уходящей жизни. «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, / Оттого, что лес — моя колыбель, и могила — лес». Порою она воспринимается как страстная «сверхмечта», красивый, мелькнувший и ускользающий миф:

*Кабы нас с тобой — да судьба свела —
Ох, весёлые пошли бы по земле дела!
Не один бы нам поклонился град,
Ох, мой родный, мой природный, мой безродный брат!*

Дважды повторенное «ох» заключает различные смыслы. «Мажор» первого момента вдруг обрывается безнадежно скорбной нотой, варьирующей неоднозначность корневого слова «родный»: близкий по духу, в то же время определяемый и как абсолютно идентичный («мой»), но без рода и племени, связанный неразрывно «со мной» «древом» человеческой жизни. Мятёжный призыв: «Я кабацкая царица, ты кабацкий царь. / Присягай, народ, моему царю! / Присягай его царице, — всех собой дарю!» — оборачивается романтической поэтизацией души, страстной и бунтарской, приносящей в жертву целую жизнь земных наслаждений ради одного желанного мига: «Нагулявшись, наплясавшись на земном пиру, / Покачались бы мы, братец, на ночном ветру...»

М. Цветаева создаёт такой живописный образ лирической героини, который близок не только изобразительному портрету, но и кинематографическому, так он динамичен и раскалён: «Мои глаза, подвижные, как пламя»; «Два солнца стынут... Одно — на небе, другое — в моей груди»; «Я уронила на руки жаркий лоб»; «Разметались кудри, разорван ворот — / Пустота! Полёт! / Облака плывут, и горящий город / Надо мной плывёт». Более того, выявляется глубоко потаённое внутреннее состояние: только на рентгеновском снимке можно рассмотреть, как «...в ночи моей прекрасной / Ходит по сердцу пила». Истоки мятёжного чувства она пытается отыскать в корнях своего генеалогического древа («Бабушка! — Этот жестокий мятёж / В сердце моём — не от вас ли?...»). Но, как правило, всё это со временем ослож-

няется всеобщим неблагополучием мира, которое видится неумолимым грядущим жестокого «кочевья».

В январе 1917 года М. Цветаева пишет стихотворение «Мировое началось во мгле кочевье...». Оно звучит как предчувствие надвигающихся катастрофических перемен. (Позже в письме от 4 апреля 1933 года Ю. Иваску она напишет: «Я всё знала — отродясь».) Приём семантического варьирования, ставший ведущим в её творчестве, в этом стихотворении приобретает особую подчиняющую силу. Его первая строка определяет первый инвариант мирового апокалипсиса; все последующие развивают глобальный образ, где человеческая судьба — «ничто» в разрушающем потоке всемирной истории. Оттого так безнадежно трагичны заключительные строки: «Это реки начинают путь — вспять! / И мне хочется к тебе на грудь — спать». Но очень скоро и этот кажущийся покой будет отвергнут. В августе 1917 года М. Цветаева пишет: «И на грудь, где наши рокоты и стоны, / Опускается железное крыло». Возникает новый инвариант возможной душевной гармонии: «Только в обруче огромного закона / Мне просторно — мне спокойно — мне светло». Но безбрежность «огромного закона» в результате тоже окажется раздавленной жестокой силой «железного крыла». Л. Аннинский по этому поводу замечает: «На всю жизнь М. Цветаева получает роковой дар: ничто в её жизни не сбывается, не воплощается адекватно; всё существует только в горячечном воображении и реализуется в горних высях; спускаясь к долу — рушится». Ранее утвердившаяся антитеза «бессонница — сон» как вечные антиподы жизни и смерти в творчестве поэта всё более будет обостряться.

«Бессоннице» М. Цветаева посвятила целый цикл стихотворений. Но этот образ вторгается и в другие её поэтические откровения, получая свой бескомпромиссный вердикт как «правило» жизни:

*Нам бессонница — не бремя,
Отродясь кипим в котле.
Так-то лучше. Будет время
Телу выспаться в земле.*

Образ становится тем «инструментарием», который открывает по-новому привычный и такой ординарный мир. После бессонной ночи «Целая радуга — в каждом случайном звуке! / И на морозе Флоренцией пахнет вдруг». Ради этой красоты жизни «зоркий сторож с колотушкой» неустанно призывает: «Не спи! Крепись! Говорю добром! / А то — вечный сон! А то вечный — дом!» Однако соскальзывание в мир призрачного сна всё-таки продолжается. Вначале — как предчувствие, как знак, ведомый только лирической героине («И никто не видит по дороге, / Что давным-давно уж я во гробе / Досмотрела свой огромный сон»); далее — как откровение перед тем «идеальным» героем, в котором заключены все качества «рыцарства». В этом плане стихотворения «По дорогам, от мороза звонким...», «Мировое началось во мгле кочевье...» и «Только в очи мы взглянули без остатка...» сопрягаются как своеобразное продолжение одно другого.

Отношение М. Цветаевой к смерти неординарно. В 17 лет она пишет стихотворение «Молитва», в котором высказывает не только всеохватную любовь к миру, но и парадоксальную для юности идею: «Люблю и крест, и шёлк, и каски, / Моя душа мгновений след — / Ты дал мне детство — лучше сказки / И дай мне смерть — в семнадцать лет!»

Она словно ведёт своеобразную полемику с «прекраснейшей из муз» Ахматовой, противопоставляя её пророческому «посмертному узнаванию» («Издалёка, мальчик зоркий, / Будешь крест мой узнавать») свою завещаемую безымянность, которая звучит как заклинание, обращённое ко всему и всем: «Положите меня промеж / Четырёх дорог», «Становись надо мной крестом, / Раздорожный столб!», «Высоко надо мной

«Голос правды небесной против правды земной»

торчи, / Безымянный крест», «С головой меня укрой, / Полевой бурьян». И как категорический приговор, подводящий черту всему сказанному выше:

*Не запаливайте свечу
Во церковной мгле.
— Вечной памяти не хочу
На родной земле!*

Это уже не раннее элегическое обращение в эпитафии к случайному прохожему, идущему через кладбище: «Легко обо мне подумай, / Легко обо мне забудь!», а крик души, сжигающей, неистовой, открытой всем светлым и греховным радостям жизни, вопреки установленным церковным канонам: «То, что Господом задумано, / Человек перешел». Потому и последнее покаяние посылается земле с её простыми человеческими наслаждениями: «Моя земля, прости навеки, / На все века!»

Но откуда, из каких щедрых кладезей бытия черпает М. Цветаева столь живительные «биотоки» для своего творчества? Несомненно, истоки его в фольклоре, в древнерусской литературе: своеобразно интерпретированных народных сказках, поверьях, притчах, гаданьях, магических заклинаниях в центре с поэтическим сотворением неординарного характера. Так, в стихотворении «Коли милым назову — не соскучишься...» весьма ощутимо оригинальное переложение сказки про Ивана-царевича и его братьев, выпускающих стрелу в поисках суженой, где вместо сказочной стрелы в руках героя неожиданно оказывается ружьё, а загадочная царевна-лягушка оборачивается «Царь-Девницей-беззаконницей»:

*Хорошо, коль из ружья метко целятся.
Хорошо, коли братья верно делятся,
Коли соколу в мужья — девица...
Плясовница только я да свирельница.*

Древние поверья лежат в приложении к земле, дающей силы во времена лихие («А придёшь на распутье — к земле припади»), в вещих снах о жемчужных нитях, предвещающих беды, в дарении милому на вечную память гребешка («Чтобы помнил не часочек, не годок — / Подарю тебе, дружочек, гребешок»), в магических заклинаниях об избавлении от жизненных несчастий и бед («Отпади, тоска — печаль-кручина, / С молодой рабы моей Марины / Верноподданной») и т. д. Порою возникают образы-заставки типа: дом — пряник, время — летящие кони («Чёрных твоих коней / Слышу топот»). Часты построения образа на контрастах («Не полог, а птица / Раскрыла два белых крыла»), анафорические повторы в начале поэтических строк, риторические обращения, близкие к народному плачу («Я ли красному, как жар, кiotу / Не молилась до седьмого поту?»). Нередко заявляют о себе выражения напевного характера с предлогом «во» вместо «в» или союзом «да» вместо «и» в последующем порядке («Там, где во поле во пустом / Вороньё да волк»).

М. Цветаева создаёт удивительно неровный, взрывной стиль, где совмещаются романсовая и народно-песенная традиции, высокая романтическая лексика с прозаизмами, ораторская интонация с говорной и изысканной речью, где нередко вторгаются какофония звуков и диссонансы. Её стих отличают частое введение эмфатических пауз, неожиданные переносы из одной строки в другую, незавершённость действия или состояния, выраженная многоточием. Уровень интонационных колебаний весьма резок: от мятежного порыва до ретардации, замедленного напряжения. Ощущение слова обострено, что порою сближает с В. Хлебниковым. Совмещением однозвучных сочетаний выявляются совершенно противоположные смыслы («одинаково невинно-неверное», «вероломны — значит верны»). Нередко слова, объединённые вначале единым звуком, передают целую историю жизни («И крутится в твоём мозгу: / Ма-

зурка-море-смерть-Марина...») или раскрывают различные ступени психологических переживаний («С хлебом ем, с водой глотаю / Горечь — горе, горечь — грусть»).

Огромное значение в поэзии М. Цветаевой приобретают оксюмороны. Сопрежённость понятий и представлений остро контрастного плана органически включается в неординарный характер, выявляя его сущность изнутри. Здесь оксюмороны и развёрнутого плана типа: «Моё последнее величье / На дерзком голоде заплачу», и построенные по принципу поэтического кольца («С тобой нелепейшая роскошь, / Роскошная нелепость — страсть!»), и лаконично сочетаемые определения с определяемым словом («нищие пиры», «прекрасный грех», «блаженная тяжесть»).

Об Октябрьском перевороте М. Цветаева узнала из «красных» газет по дороге из Крыма. Взрыв в Кремле, в охране которого находился С. Эфрон, потряс её. В дневниковой записи «Октябрь в вагоне» она вновь возвращается к его образу, «верному рыцарству»: «...А главное, главное, Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома. Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали друг друга. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам... Если Бог сделает... чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака». Она возвращается в Москву в самый разгар событий, чтобы тотчас уехать с Эфроном в Коктебель к М. Волошину, с которым её связывала давняя дружба. Но, когда возвратится за детьми, путь в Крым будет отрезан. Никогда больше она не увидится с Волошиным, что же касается С. Эфрона, перед эмиграцией — всего лишь один раз, когда в январе 1918 года он тайно приедет в Москву с заданием, чтобы через день отбыть на Дон в армию Корнилова. С этого времени имя С. Эфрона и его судьба будут неразрывно слиты для неё с судьбой России.

А. Саакянц начиная с 1917 года выделяет два русла цветаевской поэзии. Первое: двухплановое романтическое, в одном из которых была «надуманная, книжная театральность» как следствие «ухода от суровой, неудобной действительности». Так появляются циклы: «Любви старинные туманы», «Комедьянт» с масками и плащами, в которых «мало души и много одежд», в подражание Ростану и Блоку. В другом — слитность «с историческими и личными обстоятельствами»: гражданской войной, Добровольческой армией и неизвестной судьбой С. Эфрона, обозначенными как «добровольчество — это добровольная воля к смерти», как «тоска по обречённому герою — идеальному и благородному Воину», где было немало патетики и мифотворчества, воплотившихся позже в сборнике «Лебединый стан». Второе русло — народное, «русское», своего рода продолжение уже заявленного ранее (А. Саакянц. Марина Цветаева // Цветаева. М., 1998. С. 13–14).

Поразительно складывается теперь поэтическая судьба М. Цветаевой: начиная с 1917 года чем острее она испытывает трагическое состояние души, тем активнее её творчество. В приюте от истощения умирает её младшая дочь Ирина, неизвестна судьба С. Эфрона, её нищенский быт потрясающ (даже проникший в дом вор был обескуражен его скудностью). Б. Зайцев, привёзший ей дрова, был поражён «ледяными комнатами с намёрзшим в углах снегом» и каким-то безразличием к быту: «Печка так печка, дрова так дрова. Главное — стихи» (Б. Зайцев. Далёкое. М., 1991. С. 500). «Ибо раз голос тебе, поэт, / Дан, остальное — взято». Она много пишет, много наблюдает, испытывает «голод» общения с различными социальными слоями, много записывает, включая разговоры и выражения, случайно услышанные в народной толпе. Ближе сходится с театральной средой: «вахтанговцами», студийцами МХАТа, лично с Ю. Завадским, П. Антокольским, С. Голлидей. Для них она пишет свои лучшие пьесы в стихах: «Фортуна», «Феникс». Публикует лирический сборник «Вёрсты» (1921) и в переработанной редакции в 1922 году. Эпика в её творчестве теснит «лирическое состояние души». Так создаются поэмы «Царь-Девница» (1920) о деве-богатыре с сильно развитыми фольклорными образами и интонациями, «Егорушка», «Переулочки» с отзвуками былинных мотивов. М. Разумовская о совершенстве их эпического

«Голос правды небесной против правды земной»

мастерства писала: «Она черпает из глубочайших источников речи и употребляет мелодии звука и рифмы, которые невозможно передать в переводе на другие языки». (М. Разумовская. Марина Цветаева. М., 1994. С. 132).

М. Цветаеву захватывает тема высокого назначения поэта; следуя пушкинской традиции творческого «самосжигания», она создаёт поэму «На красном коне». Её стихи о долге поэта и природе творчества обретают монументальную стройность и ораторскую патетику:

*Птица-Феникс — я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю — и горю дотла!
И да будет мне ночь — светла!*

Но всю свою безмерную горечь за гибель России она выразила в стихотворениях, объединённых в сборнике «Лебединый стан», при жизни так и не изданном (впервые — в Мюнхене в 1957 году). Отныне её душа прикована к Дону, где в Добровольческой армии сражается её «верный рыцарь чести» — воплощение «белизны» и ростановского «Орлёнка».

Каким предстал Дон в поэтическом видении М. Цветаевой того безумного времени, об этом лучше всего говорят эпитеты: лебединый, журавлиный, голубиный, широкий, белый. Последнее определение «белый» прочно закрепляется за теми социальными силами, которые теперь составляют органический «нерв» жизни поэта («Белая гвардия — путь твой высок. / Чёрному дулу — грудь и висок»). Отныне всё, что дорого ему, воспринимается в белых тонах («Белым стражем да встанет — честь»), всему противопоставляется он («белизна — угроза черноте»). Примечательно, что цветовая гамма в стихах М. Цветаевой этого времени довольно ограничена: кроме белого есть чёрный, жёлтый и красный, переходящий нередко в кровавый («Перепивайтесь кровавым пойлом»). Такая ограниченность палитры неслучайна: корни её в греческой живописи эпохи Полигнота, символически отражающей реалистическое творчество на фоне глубокой безнадёжности. Именно такой «фон» положен в основу ряда стихов трагического предчувствия:

*Да! Проломилась донская глыба!
Белая гвардия — да! — погибла.
Но покидая детей и жён,
Но уходя на Дон...*

Эти стихи, написанные в апреле 1918 года, когда белое движение только начиналось, уже тогда пророчили ему неотвратимую гибель. Большая часть стихотворений «Лебединого стана» не канонических жанров, а близка к интонациям плача, заклинаниям, своеобразной притче, где магистральная роль принадлежит Ярославне и князю Игорю нового, невиданного по жестокости времени («Буду вопрошать воды широкого Дона... Я журавлём полечу по казачьим станицам», «Знаешь конец? Там, где Дон и Донец — плещут, / Пал меж знамён Игорь на сон — вечный»). Образ сна становится той поэтической дистанцией, которая позволяет воспринимать мир на грани ирреального:

*— А папа где? — Спи, спи, за нами Сон.
Сон на степном коне сейчас приедет.
— Куда возьмёт? — На лебединый Дон.
Там у меня — ты знаешь? — Белый лебедь...*

Высочайшего напряжения он достигает там, где речь идёт о «белом высоком

воинстве» («Старого мира — последний сон: / Молодость — Доблесть — Вандея — Дон»). Постоянные эмфатические паузы, бесконечные enjambement(ы) — переносы из одной строки в другую, надрывные диалоги — всё это говорит о необычной интонации, которая начинается с такого конца октавы, когда после верхнего регистра следует моментальный спад, или «плато». «Лебединый стан» — это крик души в бесконечное ледяное пространство.

Поэтизация белой гвардии М. Цветаевой не только «результат» романтического восприятия реальности, но и в значительной мере «подказана» философским реализмом Ф. Достоевского — его идеей сострадания к «униженным и оскорблённым». Позже, в эмиграции, она скажет: «Единственное, что меня связывает с Россией, — Достоевский». Тогда же пояснит: «Если бы побеждали белые, я была бы на стороне красных. Но поскольку побеждали красные, — я с белыми». В «Лебедином стане» эта мысль нередко переходит в идею всеобщего гуманизма, воспринимается как острое неприятие войны вообще («Белым был — красным стал: / Кровь обагрила. / Красным был — белым стал: / Смерть победила»). В таком контексте возникает и мотив примирения как высшей стадии милосердия: «Царь и Бог! Жестокой казнию / Не казните Стеньку Разина!.. / Царь и Бог! Для ради празднику — / Отпустите Стеньку Разина». Такая примиренческая позиция, несомненно, сближала М. Цветаеву с М. Волошиным, провозгласившим в период революционной смуты: «А я стою один меж них / В ревущем пламени и дыме, / И всеми силами моими / Молось за тех и за других».

Характерно, что образ Дона мощным потоком врывается и в её дневниковые записи революционного времени. В разделе «Мои службы», где постоянно акцентируется мысль на анархии, процветающей в новоявленных советских учреждениях, она словно заклинает: «Дон. — Дон. — Не река — Дон, а звон». А далее в текст вторгается острейшая ирония с открыто неприемлемым отношением автора к реальным событиям: «Новое озарение: сейчас придумаю срочное и уйду... Но товарищ Иванов озабоченно: — Товарищ Эфрон... спровадим поскорей наше барахло (разгребает): — «Долой белогвардейскую свол...» — Это вам — «Буржуазия орудует»... Опять вам... «Все на красный фронт»... Мне... Обращение Троцкого к войскам... Мне... Белоподкладочники и белогвард. — Вам... «Приспешники Колчака»... Вам... «Зверства белых»... Вам... Потопаю в белизне. Под локтем — Мамонтов, на коленях — Деникин, у сердца — Колчак. Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»! Строчу со страстью!». Дневники были опубликованы в середине 1920-х годов за рубежом, — за что в Советской России М. Цветаеву больше не печатают.

14 июля 1921 года она получает из-за границы долгожданное известие: Сергей Эфрон жив и после разгрома белого движения находится в Чехии. Решение принимается тотчас и бесповоротно. 11 мая 1922 года с девятилетней дочерью Алей М. Цветаева отправляется на Виндавский вокзал. Её провожал только извозчик.

В Берлине она встретится со своим «благородным рыцарем». Потом была Чехия, в которой они прожили три долгих года. Чешское правительство приняло решение поддержать русских беженцев, зачислив на полное иждивение 1500 русских студентов, в числе их — Сергей Эфрон. Это были лучшие годы эмиграции М. Цветаевой. Её много печатают, нередко выплачивая высокие гонорары, выступления собирают огромные аудитории. У неё есть друзья и близкие, любящие её поэзию. На вторжение фашистской Германии она ответит «Стихами к Чехии», исполненными высокого гражданского пафоса: «Бог! Если ты и сам — такой, / Народ моей любви / Не со святыми упокой — / С живыми оживи!»

Но студенческие годы для С. Эфрона закончились, и они принимают решение переехать в Париж, в котором жизнь для них со временем всё более будет усложняться. Спрос на стихи снижается, и М. Цветаева вынуждена перейти на прозу, но и прозу издательства ограничивают в размерах (многие журналы и альманахи закрываются). С рождением сына Георгия её семейный ритм особенно диссонирует. Средств на жизнь

«Голос правды небесной против правды земной»

катастрофически не хватает. С 1935 года С. Эфрон становится платным работником Союза возвращения на родину. Она и не подозревает, что деньги поступают из кассы НКВД. К возвращению на родину её склоняют все: Сергей, Аля, Георгий. Приехавший в Париж на Международный конгресс Б. Пастернак, с которым у неё складывается сердечная переписка, на вопрос, возвращаться или нет, прямого ответа дать не может. Предчувствуя неотвратимую беду, она взвешивает все «за» и «против». Более всего её волнует Георгий, способный, избалованный и сложный. Письмо к А. Тесковой в Чехию от 15 февраля 1936 года свидетельствует о невероятном смятении и в то же время точном предвидении. Вот некоторые цитаты из этого письма: «Не знаете ли Вы... хорошей гадалки в Праге? Ибо без гадалки мне, кажется, не обойтись. Всё свелось к одному — ехать или не ехать... Вкратце: и С.Я., и Аля, и Мур — рвутся... Жить мне — одной — здесь не на что. Эмиграция меня не любит... за независимый нрав. Наконец, у Мура здесь никаких перспектив. В Москве у меня сестра, которая меня любит... круг настоящих писателей... Наконец — природа: просторы. Это — за. Против: Москва превращена в идеологический Нью-Йорк, — ни пустырей, ни бугров — асфальтовые озёра с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами; нет, не с главного начала: Мур, к-го у меня эта Москва сразу всего, с головой отберёт. И второе, главное: я — с моим бесстрашием, я не умеющая не-ответить, я не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим... это не моё величие — м. б., важнее всего — ненавижу каждую торжествующую, казённую церковь... И там мне не только заткнут рот непечатаньем моих вещей — там мне их и писать не дадут... Мне в современности места нет».

Кажется, при таком раскладе выбор останется за невозвращением. Но провал советской агентуры, в котором непосредственно был замешан С. Эфрон, его побег в Советскую Россию, ранее отъезд Али решили всё. В июне 1939 года М. Цветаева с сыном возвращается на родину. Немногим более месяца они живут вместе на даче в Болшеве. 27 августа арестуют Алё, 10 октября — Сергея (она уже не узнает, что в октябре 1941 года он будет расстрелян на Лубянке). С сестрой она никогда не встретится: Анастасию арестуют за полгода до приезда Марины. Высокий авторитет и великий культурный вклад рода Цветаевых, давшего России Музей изящных искусств в Первопрестольной, три уникальные библиотеки, талантливых служителей отечества, оказался беззащитен перед железной диктатурой Страны Советов. Глубокой осенью М. Цветаева остаётся «без дома и крова» в городе её знаменитых предков и юности. Из дачи в Болшеве её выселят, имущество разграбят. Багаж, высланный из Парижа, более года ей не выдают. Печатают только переводы. Письмо в Союз писателей П.А. Павленко с просьбой предоставить какое-нибудь жилище она заканчивает с отчаянием: «...меня жизнь за этот год — добила. Исхода не вижу. Взываю к помощи». В таком надрывном состоянии М. Цветаева встретила войну 41-го года, которая забросила её в незнакомую Елабугу. Здесь 31 августа она оборвёт свою жизнь.

Но сбылись её предсказания. В эпитафии «Надгробие» сквозь дымку минувшего она увидела судьбу своих стихов: «В шкафу — двустворчатом, как храм, / Гляди: все книги по местам. / В строке — все буквы налицо. / Твоё лицо — куда ушло?» Не останется без ответа и вопрос, куда уходит истинный творец. «Я себя схоронила в небе» (ранее была только «гостем небесным»), — напишет поэт, а там на сакральной высоте «картою созвездий — прах / Рассыпается», одаряя благодатным светом землю обетованную. Этот свет бесконечен, потому что у творца «стезя гривастая, кривая, / Не предугадана календарём». У него свои измерения: «...Вечностью моею правит / Разминовение минут». А это — путь в бессмертие.

Владимир Моисеев



ИЗ ПОДСОЛНУХОВ ГРЕШНЫХ...

НИМБЫ

В этом поле, где нет суеты,
отключил я от мира мобильник.
И смотрю, как с улыбкою ты
примеряешь подсолнухов нимбы...

Может, хочешь казаться святою?
Но, по-прежнему, взгляд твой – не строг.
Тебя грешной люблю, золотую
под широкие всплески серёг. –
Отдалась ты медовому зною,
И в медовые губы я влип!
И не зря над твоей головою
солнце клонит сверкающий нимб...

Есть в посёлках иконы простые. –
Нимбы жёлтые светятся в ряд:
Все пророки и девы святые
из подсолнухов грешных глядят.

Моисеев Владимир Валентинович – поэт, член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников. Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.

ЧЕКАНКА

Беру металл, чекан калёный...
Всё – на свои кладу места...
И молоток мой бьёт поклоны
пожару медного листа.

И вот –
из глубины,
играя,
уже свою почуяв власть,
восходит женщина нагая,
от солнца щурясь и смеясь.

Она восходит в блеске рыжем...
Слова, сравнения – всё старо.
Она восходит! –
медным брызгам
то грудь подставит, то бедро...

Я угадал по коже гладкой...
Узнал твой солнечный овал...
Лишь у тебя одной – повадка
в судьбу врываться
и в металл.

Помню шелест листвы и крыл,
и вечернюю нежность полей...
Ничего я ещё не забыл
в перелётной улыбке твоей!

Только ты позабыла *тот* год,
в золочённом замкнулась кольце. –
Та улыбка
уже не цветёт
на твоём сиротливом лице.

Но однажды
взойдёшь на крыльцо...
Может, вспомнишь тот вечер,
как знать?
И улыбка заденет лицо,
словно ласточка – водную гладь.

НА РАСПУТЬЕ

Сентябрь подковал километры...
Легко бездорожьем бреду.
Как остро здесь чувствуешь ветер,
пространство степи и звезду!

Вот камень:
привык он здесь к воле, –
могучий и тяжкий, как гром...
Стою и читаю невольно
судьбинные грани на нём.

Налево идти иль направо? –
Здесь жребий доступен любой.
Есть путь на любовь и на славу;
на злато, удачу и бой...

Ах, камень! – Угрюмый мечтатель,
ты даришь любые пути...
Повесил бы кто указатель –
куда же
за счастьем идти.

Сбылось цыганское пророчество.
И я признать уже готов,
что променял на одиночество
друзей, приятелей, врагов.

Текут-журчат года проточные. –
То штиль *владычит*, то гроза...
Собакой верной
одиночество
мне служит и глядит в глаза.
Глядит ревниво и серьёзно,
зализывая будней гам.
И я смотрю в глазища звёздные...
и растворяюсь там.

Но в час,
когда тоскует лунность
и воют
степь и берега,
невыносимо тянет в юность –
обнять
и друга,
и врага.

Светлана Вьюгина



ВОЛШЕБНОЕ СЛОВЕЧКО

Рассказы для детей

НА ВЕСЕННЕМ БЕРЕГУ, или ТРИ ПРЕКРАСНЫЕ НОВОСТИ

Пригорок у нашего пруда стал зелёным — весело на него смотреть! У самой же воды в траве там и сям появились маленькие жёлтые солнышки — это цветы мать-и-мачехи.

Вот такие две прекрасные весенние новости!

А есть и третья, скажу вам по секрету.

На воде я увидела двух плывущих уток, не домашних, конечно, а диких. Присмотрелась. А утки-то разные! Одна одета в серенькие с коричневыми пятнышками пёрышки, а другая... У неё тёмно-фиолетовые продольные полосы чередуются со светло-серыми, почти белыми. А какого же цвета головка с плоским жёлтым клювом? Вот она — чёрная. А повернулась к солнцу — и стала фиолетовой, с искорками. А ещё чуть повернулась — и фиолетовый цвет перемешался с зелёным. А жёлтое кольцо на горлышке — глаз не отведёшь!

Опять же — по секрету — скажу: вот эту яркую утку называют селезнем. А утку пятнистую — просто уткой.

Если у вас есть рядом пруд или речка, приходите на берег и полюбуйте чудесами весны.

Вьюгина Светлана Васильевна – детский писатель, член Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.

МАЛАХИТОВЫЙ ЛЁД

Вчера утром я увидела необыкновенную картину, можно сказать, чудную. Давайте расскажу об этом по порядку.

Всю зиму — и в декабре, и в январе, и в феврале — всё было белым. И двор нашего дома, и пруд за домом, и его берега, и даже небо часто было белым, потому что в нём летали то большие, то совсем маленькие снежинки. Потом, в марте, стало часто — и утром, и днём, и вечером — сиять тёплое солнце. И снег начал таять. И в нашем дворе, и на берегу пруда, и на его льду. А когда на пруду снег весь растаял, то лёд стал желтеть. Чуть-чуть. А вот вчера...

А вот вчера, когда я пришла к пруду, тут-то я и увидела чудо: лёд стал зелёным! Да-да, он стал зелёным, а если точнее — тёмно-зелёным. Глазам своим не поверила сначала. Представляете, у берега — белый лёд узкой полосой тянется, а середина — зелёная! И я сразу вспомнила, на что это похоже. У моей мамы был такой перстень с малахитом — кусочком чудесного тёмно-зелёного уральского камня. Кусочек этот был гладенький, отполированный руками умелого мастера, а вставлен он был в серебряную оправу. Такая светлая каёмочка оттеняла мягкий зелёный цвет малахита. Когда мама снимала перстень с пальца, я частенько любовалась им.

А тут вот — огромный малахит в белой каёмке прибрежного льда. Вот оно, первое весеннее чудо!

Не зря, совсем не зря по берегу пруда ходила красивая серая трясогузка. Она кивала своим длинным птичьим хвостиком, будто одобряла мою радость: весна — это очень хорошо, это красиво!

ВОРОНА НА ЛЬДИНЕ

Наша речка от дома совсем недалеко. Вон за тем вот двухэтажным зданием детского садика.

*Туп-туп, туп-туп,
А медведь не остолоп!*

*Тик-так, тик-так,
А зайчишка не дурак!*

Споёшь двенадцать раз эту песенку — и ты уже на берегу речки.

Хорошо тут и зимой — среди сугробов, и летом — под пышными зелёными зонтами деревьев, и золотой осенней порой, да и сейчас, апрельским днём.

Иду по мягкому, пока ещё не зелёному, бережку и смотрю на скользющую мимо воду, придумываю новую весёлую песенку...

Глядь, с дерева слетела большая красивая ворона и — диво дивное! — опустилась на небольшую белую льдину. Льдина плывёт, а ворона — на ней. Стоит, посматривает по сторонам, чёрный клюв блестит на свету, глаз — то один, то другой — хитро посматривает на меня. Вот, мол, я какая смелая! Плыву по речке, ничего не боюсь, — а попробуй-ка!..

Волшебное словечко

Да куда уж мне в такое опасное плавание отправляться? Я такой холодной воды боюсь!

А тут ребята из детского садика на прогулку вышли. Кто-то увидел ворону и закричал:

— Смотри, ворона на льдине плывёт!

— Ой-ой! Она же утонет!..

— Ворона!.. Ворона там!.. — кричат ребята своей воспитательнице.

— Утонет ворона! Утонет!..

Ворона покрутила-покрутила удивлённо головой — и как каркнет:

— Вороны не тонут! Кар-р-р! Вороны!..

Взмахнула крыльями — и полетела...

Я возвращалась домой и думала, что к завтрашнему утру надо непременно придумать песенку про ворону на льдине.

А может быть, придумаем её вместе, а?..

Хорошая песенка получится!

ДОРОГА

Без сандалий лучше идти по середине дороги. Низенькая трава спорыш щечочет маленькими листочками пятки, немножко пылит...

— Папа, — говорю я, — а зачем нужна дорога?

Папа идёт за мной; он тоже босиком и в светлых шортах; только на нём рубашка с синими завитушками, а я — в белой майке.

— Зачем, пап?..

— Ну, вот эта дорога — полевая. Она ведёт нас через поле. Видишь, какое оно? Было зелёное, а теперь желтеет. Созревает урожай. Это — овёс, он кисточками такими, из зёрнышек. Сила в нём — богатырская. Не веришь?

— Не верю.

— А ты знаешь, что лошадь может везти тяжеленные грузы, может землю пахать плугом — с человеком, конечно... Целый день она работает — и сил хватает. А ведь ни конфет, ни мёда, ни пирожных не ест: трава, сено, овёс... Ты понял, почему я овсяную кашу по утрам ем?..

— Богатырская сила?..

— Вот именно!

— Так вот. Есть у полевой дороги украшение — васильки. Видишь, голубые вот эти цветы? А сколько их!.. Красота, Ванечка. Согласен? А ведёт полевая дорога или от деревеньки к деревеньке, или на покос, или на пасеку, где пчёлы летом живут и мёд с цветов собирают, или к летней ферме... В одном месте овцы пасутся, в другом — коровы...

— А другие дороги?..

— Есть и другие. Вот мы из города в наш летний дом по шоссе ехали, по асфальтовой дороге. Асфальтовые дороги, ясное дело, не то что полевые — гладкие, ровные, без кочек и ухабов. Можно без задержек и помех и день ехать, и два, а то и неделю, скажем, к Тихому океану. По таким дорогам люди в своих машинах или автобусах в гости друг к другу ездят, по ним грузовики еду и одежду возят из одного места в другое. А ещё бывают железные дороги

— по ним мчатся поезда. Поезда перевозят людей и нужные им грузы. А ещё есть морские пути-дороги — для теплоходов...

— А ещё?..

— А ещё, Ванечка, воздушные — в небе... Для самолётов. Дороги соединяют людей. Понял?

— А ещё, пап?..

— А ещё — космические... Они ведут людей к звёздам. Далеко-далеко!

Папа берёт меня за руку, и мы смотрим назад. Там, накрыв голову белыми шляпами, идут мама и её подруга тётя Мила.

— А тебе какая дорога больше нравится? — спрашиваю я папу.

— Мне?.. — Он снимает чёрные очки и показывает рукой:

— Эта!

— Полевая, с цветами?

— С цветами васильками!

ЗЕМЛЯ

Я с папой иду на пруд. Нет, купаться мы сейчас не будем. Сейчас — утро. А утром ещё прохладно. Ещё столько росы — вся трава мокрая! Поэтому мы гуляем в резиновых сапогах.

— А вот это, — говорит папа, — донник. Ну, эти вот метёлки... С жёлтыми цветочками — жёлтый донник, а с белыми — белый...

— А это что? — спрашиваю я папу. — Вот кустики травы высокие с жёлтыми пуговками...

— Пижма! Цветы у неё на вкус очень горькие. А мухи и всякие мошки надоедливые её на дух не переносят. Потому её в деревенских домах, в избах пучками в углах вешают — и красиво, и пахуче, и спать людям спокойно.

— И откуда ты, папа, всё знаешь?

— Да я же в деревне родился. Она называется Спас.

— А мама?..

— И мама... Только она в другом месте родилась, в мешерских местах. Почти все люди раньше в деревнях жили, города тогда были совсем небольшие, и было их мало. Понял, Ванечка? Да-а, — говорит папа. — Красота!

— Где красота?

— Где-где... — смеётся папа. — Везде! Вокруг нас! На всей нашей земле красиво.

— Почему красиво? Потому что мы по ней ходим?

— Ну, ты у меня ещё совсем заяка-незнайка! Земля — не только вот эта дорога, камешки и трава... На земле растут цветы, деревья, по ней текут ручьи, речки и большие реки; по ней едут машины, поезда; с неё взлетают самолёты, чтобы потом на неё же опуститься...

— По земле бегают зайцы, волки, лошади!..

— Вот-вот! Правильно.

— И верблюды ходят, и слоны...

— Точно.

— И дом наш, и все дома на земле стоят...

Волшебное словечко

— И все города, и деревни... И много, много чего ещё на земле! Я вот...
— Папа останавливается и смотрит на меня. — Я вот далеко-далеко уезжал, много разных стран видел, но самая-самая красивая земля у нас, — наш край, где я и ты, и мама, и бабушка с дедушкой, и друзья наши... Тут красота из красот! И летом, и весной, и осенью, и зимой...

— Когда всё белое-белое, когда снег хрустит, когда снегири на кустах!..

— Ну, ты художник у меня! Молодец!.. К пруду пойдём?

— Пойдём!

..В этом зелёном доме живёт Димка Молоток. Он говорит, что Молоток — это фамилия у него такая. Шутишь, Димка, таких фамилий не бывает!

Сейчас как крикну: «Выходи, Димка, красоту смотреть!» Да папа, наверное, дернёт меня за рукав и скажет: «Тише ты, спит твой Димка!»

Жаль, что спит Димка...

НЕБО

Облако — большое, пушистое... Из чего оно сделано? Наверное, из снега. Будет лететь, лететь, а потом — р-раз! — и снег из него посыплется на землю, и зима будет...

Я лежу на раскладушке и смотрю на небо.

Вон ещё одно облако — длинное, толстое...

Ветерок щекочет мой живот, руки и плечи... Хорошо!

— Пап, а пап! — кричу я. — А из чего облака сделаны?

Папа сидит за синим круглым столиком, на его голове белая-белая шляпа, он читает толстую книгу.

— Облака?.. Облака — из пара.

— А не из снега?

— Не из снега. Из густого пара.

Чудеса! Это сколько же надо горячих кастрюлек, чтобы получились такие облака!

Я поворачиваюсь на бок и смотрю на папу.

— А зачем небо?

Папа закрывает книгу.

— На небе солнце. От него идёт свет и тепло.

— А ночью?

— А ночью светит луна. И звёзд много-много! Ты же видел?

— Видел.

— Ну вот... Смотришь на звёздное небо и думаешь о разном, вспоминаешь то и сё. Соловьёв слушаешь... А рядом костёр горит, дровишки в нём потрескивают, искры летят... Хорошо!

— А ещё в небе птицы летают, самолёты, вертолёты... Да, папа?

— Да, Ванечка... А потом все они возвращаются на землю; птицы — в свои гнёзда, люди — в свои дома, самолёты — в аэропорты...

— Значит, и людям, и птицам нужны и земля, и небо?

— Значит, так. И земля, и небо...

— А ангелам тоже нужны земля и небо?

— Ангелам нужны небо и мы, люди.

Я встаю и бегу в дом — за альбомом и фломастерами.

— Пап, можно я с тобой?..

— Присаживайся.

И вот мы сидим вдвоём за синим круглым столиком. Папа читает свою толстую книгу, а я рисую небо.

ОБЛАКА И ТЕНИ

У наших зелёных ворот — два зелёных дерева: слева — осина, а справа — липа.

Осина, если даже тихо-тихо-тихо на улице, машет и хлопает листочками, будто дует какой-то тихий-тихий-тихий ветерок... Листики осины с одной стороны зелёные, а с другой — серебряные. Папа говорит так: «Все думают, что наша осина — как все деревья. Да уж нет! У неё серебряная изнанка!»

А липа — молчаливая. Зелёная, тёмная, тихая.

Вчера липа расцвела и загудела: «У-у-у-у!..»

— Пчёлы!.. — сказала мама. — Они сладкий сок в соцветиях липы собирают, а потом в своих ульях в мёд превращают. Слышишь, гудят?

— Может, и я соберу там сладкий сок?

— А укольчик в пятку хочешь? Пчёлы его мигом делают тем, кто им мешает заниматься делом, — сказал, спускаясь с крыльца, папа. — Я, признаюсь, в детстве не раз испытал это — ха-ха! — удовольствие. Долго пятки чесались...

— Посидим? — предложил мне и маме папа.

Мы сели на крыльцо (я в серединке) и стали слушать гул пчёл.

Сзади скрипнула дверь. Я оглянулся. На нас смотрел сонными глазами Боб. Он повернул голову направо, потом налево, потом шумно встряхнулся и спустился мимо меня вниз. Постоял, подумал и бухнулся у наших ног. И тут же уснул.

«Ну, соня!.. Байбайкин ты, Бобик!»

— Мам, а мам! Что тебе больше нравится — небо или земля?.. А тебе, пап?..

— Когда лето, когда я лежу на траве и глажу рукой ромашки, мне больше нравится небо, его белые-белые облака, его синий-синий цвет, его тёплое-тёплое сияние, — сказала, подперев голову рукой, мама.

— Ах, Таечка, какая ты мечтательная и теплолюбивая! А я вот больше люблю землю, где живут птицы и звери, где растут черёмуха и сирень, цветы, где мы живём... А ещё мне нравятся тени — от нашего дома, от деревьев и — бегущие! — от твоих белых-белых облаков.

На руку мне упали две светлые капли...

— Ребята, дождь!.. — вскочила мама. — Скорее на веранду!

Первым прошмыгнул в приоткрытую дверь мой любимый пёс Бобик, за ним — я, а потом уж вошла мама. Последним вошёл папа и закрыл дверь на щеколду, чтобы порывом ветра не распахнуло.

— Смотри, Боб, какая синяя туча! — сказал я.

Боб тут же вскочил на диванчик и поставил передние лапы на подоконник широкого окна.

Волшебное словечко

«Где туча?» — спросил он меня глазами.

— Да вон же! — показал я пальцем.

Боб напрягся, посмотрел в окно, потом глянул на меня — и спрыгнул под стол.

— И что там, в мире, делается? — тронула меня за плечо мама.

— Дождик там, Таечка, начинается, — подошёл ко мне с другой стороны папа. — А дождик этот соединит твои облака и мои земные тени. Небо и землю. Верно, Ванечка?

ТАМ, ГДЕ ДОЖДИК...

Дима и Мила вышли из школы вместе и направились по мокрой асфальтовой дорожке к пруду. Пруд от школы недалеко, за зелёной школьной оградой, но, сидя за партой, его не увидишь, а можно его увидеть только на перемене, когда стоишь у подоконника.

Синие клеточки широкой дорожки на берегу пруда украшены жёлтыми кленовыми листьями; листья падают с деревьев, которые растут вдоль школьного забора. Листья падают и приклеиваются к мокрой дорожке. А у воды растут ивы.

— Вот и осень, — сказала Мила.

— Вот и осень... — вздохнул Дима.

Под раскидистой ивой они остановились. На воде — как по ниточке — выстроились семь серых уток и один селезень с красивой чернильно-зеленоватой головой. Селезень, он в стае главный, так говорила Диме бабушка, когда они гуляли здесь весной. Он указывает дорогу уткам — куда им плыть, куда лететь. И он заботливый, как папа. Вот и сейчас он, наверное, сказал уткам:

— Кря-кря-кря-кря!

Мол, встаньте, утки, как кораблики на смотре, и быстро плывите к берегу: там под развесистой ивой можно спрятаться от дождя и ветра...

— Красивый селезень, — сказал Дима.

— Ага, очень красивый! — согласилась Мила и спрятала руки в карманы.

Узкие листья ивы касались дрожащей воды и помахивали Диме с Милой, помахивали уткам: привет, привет!

— Дима, — сказала Мила, — ты не грусти: скоро будет зима, будет Новый год, будем на лыжах кататься...

— А потом будет весна, будет тепло... — сказал Дима. — Возьмём Никиту, будем здесь на великах гонять!

— Никиту не возьмём, — строго сказала Мила. — Он некультурный мальчик. Он знаешь, что говорил вчера в нашем первом «В»? Он сказал: «Четырнадцать какашек!»

— Это шутка, наверное, — заступился за соседа по парте Дима.

— Нет, не шутка! Смеялись только мальчишки, а когда шутят, должны смеяться все! — заупрямилась Мила.

— Давай капюшоны наденем, — примирительно сказал Дима. — А то бабули, вон они, вон около школы нас встречают, скажут: «Ну вот, мокрые идут...»

...А кленовые листья падают, кружатся... Солнца нет, а красиво: на ветках, на траве, в воздухе — солнечные листья.

Красивое время года — осень!

Валерий Клебанов



НАД РАЗЛИВОМ ДНЕЙ

Снова что-то во мне иссякло...
Не зажгутся стихом уста.
И душа, как пастушья сакля,
незатейлива и пуста.

Очевидно, живу убого
и в хандру, как в долги, залез;
и не в силах поверить в Бога,
хоть и хочется позарез.

Шрам на душе, как от ножа,
останется от жизни этой.
И будет бедная душа
скитаться вечно с тёмной метой.

И даже если ей потом
жить в звере, дереве иль птахе, –
ей не забыть ни этот дом,
ни этот век, ни эти страхи...

Клебанов Валерий Захарович – поэт, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Александра Невского, автор нескольких сборников стихотворений. Живёт и работает в Сочи Краснодарского края.

Над разливом дней

С тех пор минуло столько лун,
что вспоминаются со скрипом
дорога в небо – и валун,
отполированный Сизифом.

Он нынче вроде ни при чём;
но поразмысли втихомолку:
всю жизнь ты – грудью, лбом, плечом...
а толку?

Мы – две доли общей доли.
Помнишь, как судьба зажглась
в том пустынном коридоре
от случайной встречи глаз?

И с тех пор плывёт, не тонет
над разливом дней, ночей
наш косою дощатый домик,
так похожий на ковчег...

Вздохнешь: «Давненько не парил я...»
и виновато глазки вниз, –
как будто хочешь спрятать крылья,
как неуместный атавизм.

И всё же ты пока не в силах
предать и боль свою, и стих,
чтоб затеряться меж бескрылых
и раствориться среди них!..

Ты слабости все прости мне,
укором не уколи,
мой добрый и мой постылый,
мой кровный клочок Земли.

Не выпало мне, хоть клялся,
сгореть за тебя в огне, –
но рад, что не затерялся
иглой в твоей копне...

Удача – особа жеманная,
а жизнь – как подпиленный сук.
Пора бы сбываться желаниям,
да всё им, видать, недосуг.

А мир был так тёпел и светел,
так цвёл благосклонностью звёзд!...
Выходит, всё это – на ветер?
Случайной комете под хвост?

Припадаю душой к травинкам,
к уцелевшим в огне лесам. –
Как они, я твоя кровинка,
край родной, и твоя слеза.

Пусть порой нестерпима ругань
и плевки, что летят в лицо, –
но на сердце сомкнулось туго
Золотое твоё Кольцо.

Как Небо о том ни проси я –
мне в благодной неге не жить,
пока остаётся Россия
горячею точкой души.

Пусть нет её бедам предела,
пусть мраком объята стезя...
Любить её – тяжкое дело,
да, видно, иначе нельзя.

Жить бы нам, не горбясь,
чтобы дух парил,
оперённый гордостью,
словно парой крыл,

чтоб влекло нас кровное
пуще всех неволь,
и при слове «Родина»
не пронзала боль...

Рэмир Завёрткин



«ЮЖТЕХМОНТАЖ» СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Что Вы знаете о профессии монтажников технологического оборудования? Вероятно, видели кинофильм с песней: «Не кочегары мы, не плотники...» Это, конечно, похоже, но не совсем так.

Монтажники — это и те, кто монтирует линии электропередач, железобетонные каркасы жилых домов, системы отопления и сантехники, пассажирские и грузовые лифты, системы автоматики и пожаротушения, и ещё много чего. Но главные монтажники — это те, кто возводят промышленные здания, монтируют технологическое оборудование, технологические трубопроводы.

Что, например, нужно, чтобы изготавливать обычный морковный сок? Нужно довольно много: автоматическая линия, имеющая оборудование для мойки, очистки, измельчения, нагрева, отжима-прессовки, стерилизации, розлива и упаковки, система ёмкостей, насосов и трубопроводов для подачи пара, горячей и холодной воды, система конвейеров для перемещения продуктов. И надо ещё сделать, чтобы всё это работало: с одной стороны линии загрузили морковь, с другой — получили готовые упаковки с соком. Разве не интересно?

Что нужно для того, чтобы выпустить комбайн? Нужно огромное количество различных металлорежущих станков, литейное, кузнечно-прессовое, сборочное и сварочное производство, линии окраски, мощные грузоподъёмные краны и длиннейшие конвейерные линии для перемещения узлов, деталей и для сборки комбайнов. И всё это — объединённое в значительное количество цехов.

А если Вам нужно смонтировать котельную, да ещё достаточно крупную?

Монтажники оборудования приходят на объект, как правило, когда там есть только пустое здание и фундаменты под оборудование, а иногда и здания нет. А уходят, когда предприятие работает: начинает выпускать автомобили и комбайны, подсолнечное масло и консервы детского питания, железобетонные конструкции и стальные резервуары, мазут и бензин, синтетические моющие средства и полиэтиленовую плёнку, гранулированные корма и семена сорго, электровозы и атомные реакторы.

Завёрткин Рэмир Анатольевич, окончил Саратовский автодорожный институт в 1951 году, инженер-строитель, в настоящее время – главный специалист ЗАО «Южтехмонтаж». Участник строительства «Атоммаша» и реконструкции «Ростсельмаша», автор двух книг о работе монтажников и нескольких публикаций в периодике. Работает над историей ЗАО Южтехмонтажа», которому в 2013 году исполняется 56 лет.

Монтажные работы — это романтика: монтажники дают жизнь всем новым предприятиям.

Монтаж оборудования это, прежде всего, сами монтажники — серьёзные люди, специалисты, с чертежами, в касках, с монтажными поясами, в спецовках с логотипами своих организаций. Монтаж — это их работа с мощными грузоподъемными



Новороссийск, мазутный терминал

и в неотапливаемых цехах. И часто это — работа на высоте, когда единственным средством защиты от падения является монтажный пояс.

Монтажников отличают высокая квалификация и профессионализм, ответственность за порученное дело.

В послевоенный период активного восстановления промышленного потенциала страны работы у строителей и монтажников было «хоть отбавляй». На Северном Кавказе было много больших и малых монтажных организаций самых различных ведомств: «Мясомонтаж», «Продремонтаж», «Росхлебо-строймонтаж», «Проммонтаж», «Промтехмонтаж», «Хладпромонтаж», «Союзпромонтаж», «Союзремонт», «Главстроймехмонтаж», работали даже «Спецрыбмонтаж» и «Пивстрой».



Бригада монтажников заслуженного строителя России Ю.А. Новичкова (в первом ряду второй справа)

С целью создания единого мощного центра по монтажу и наладке технологического оборудования для производства работ на предприятиях практически всех отраслей промышленности Ростовской области, Краснодарского, Ставропольского краев и республик Северного Кавказа приказом министра строительства СССР № 17 от 6 августа 1957 года на их базе был создан трест «Южтехмонтаж».

Основной профиль работы треста — монтаж и наладка технологического оборудования, изготовление и монтаж металлоконструкций, монтаж технологических трубопроводов, изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования.

В момент организации треста «Южтехмонтаж» для начала в нём было создано всего четыре монтажных управления: Первое и Второе Ростовские (РМУ-1 и РМУ-2), Новороссийское и Каменское. В августе 1958 года было создано Краснодарское монтажное управление.

После первых семи лет в составе треста «Южтехмонтаж» уже работали РМУ-1 и РМУ-2 в Ростове-на-Дону, монтажные управления в Краснодаре, Нальчике, Арма-

вире, Новороссийске, Каменске, специализированные пусконаладочные управления и заводы монтажных заготовок в Ростове и Краснодаре, специализированное управление механизации в Ростове с участками и объектами от Астрахани до Тбилиси. Большое и достаточно трудно управляемое хозяйство численностью около четырех тысяч человек. Средствами связи тогда служили только междугородный телефон и радиостанции. Но уже тогда о тресте «Южтехмонтаж» знали не только в Ростовской области и на Северном Кавказе, но и далеко за их пределами.

Для обеспечения роста объёмов промышленного строительства Минмонтажспецстроем СССР в 1972 году был создан трест «Севкавтехмонтаж» с подразделениями в Краснодаре, Нальчике, Армавире и Новороссийске, а тресту «Южтехмонтаж», в свою очередь, было передано монтажное управление в Невинномысске. Учитывая большие объёмы монтажных работ в Ставропольском крае, трестом «Южтехмонтаж» там было организовано новое монтажное управление в городе Будённовске.



В. А. Веденеев

В 1981 году трест «Южтехмонтаж» оказался прародителем нового крупного монтажного подразделения на Северном Кавказе — приказом министра был создан трест «Ставропольтехмонтаж» с управлениями в Невинномысске, Ставрополе, Будённовске и Пятигорске.

Управляющими трестом «Южтехмонтаж» (после 1992 года они стали называться генеральными директорами ЗАО «Южтехмонтаж») во все годы были энергичные, неординарные люди.

Первый управляющий трестом Василий Александрович Веденеев, ещё не имея инженерного образования, уже в начале 50-х годов был опытным специалистом-монтажником и работал начальником УНР-546 (в то время строительно-монтажные предприятия назывались управлениями начальника работ — УНР) треста «Промтехмонтаж» в городе Орске Оренбургской области. Успешно руководил работами на строительстве крупного объекта — Орского завода синтетического спирта. Построил за счет Заказчика прекрасную промбазу с мастерскими монтажных заготовок, ремонтными службами, отличными бытовыми помещениями. Учился заочно, и уже в Ростове-на-Дону окончил инженерно-строительный институт.

В 1957 году В. А. Веденееву было поручено организовать и возглавить трест «Южтехмонтаж», объединив механомонтажные управления и участки разных ведомств в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Каменске, Армавире, Нальчике, Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске, Азове, Сочи, Волгодонске, Белой Калитве, Шахтах, Дагестане, Чечено-Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Деятельность некоторых участков распространялась даже на Астрахань, Ереван и Тбилиси.

В. А. Веденеев был энергичным человеком и отличным организатором. Он создал новые монтажные управления в Краснодаре, Армавире и Нальчике, пусконаладочные управления в Ростове-на-Дону и Краснодаре, Ростовский и Краснодарский заводы монтажных заготовок, Специализированное управление механизации, сварочную лабораторию треста, нормативно-исследовательскую станцию; добился отвода земли и начал строить базу отдыха на левом берегу Дона. Получил здание под офис треста в центре Ростова. В. А. Веденеев говорил: «Первые три года вы трудитесь на свой авторитет, а дальше 15 лет он будет работать на вас». Своих подчинённых учил, монтируя оборудования, хорошо знать технологию производства, в котором это оборудование участвует. Первый управляющий создал работоспособный, активно действующий аппарат треста. Чётко проводились ежемесячные оперативные сове-

щания, действовала диспетчерская служба. Большое внимание уделялось кадрам. Главным инженером треста был Лев Давидович Полонский, главным технологом — высококвалифицированный и опытный Александр Степанович Жебровский, начальником производственного отдела — Владимир Яковлевич Шурухин, главным механиком — Осип Акимович Виденский, главным сварщиком — Владимир Петрович Комаров, начальником планового отдела — Ираида Яковлевна Кудинова, начальником технического отдела — Игорь Леонидович Попов, начальником отдела труда и зарплаты — Евгения Васильевна Вострова, главным бухгалтером — Леонид Иванович Малясов, начальником отдела снабжения — Константин Иванович Забияко, начальником проектно-сметной группы Георгий Денисович Космачёв, — все неординарные люди, отличные работники. В. А. Веденеев смело выдвигал на руководящие должности молодых способных инженеров (Кузнецова Ю. А., Авдеева А. С., Каневского А. Е., Комарова В.П., Попова И. Л.)

В. А. Веденеев добился отвода большого участка земли за территорией «Ростсельмаша», где построили ремонтные мастерские, боксы и бытовой корпус; в июле 1960 года на этой базе было организовано в составе треста специализированное управление механизации. По инициативе того же В. А. Веденеева на этой же площадке по соседству с управлением механизации построили четыре здания будущих цехов, и в мае 1962 года там начал работать Ростовский завод монтажных заготовок (РЗМЗ) «Южтехмонтаж». Построили складское хозяйство треста.

По предложению В. А. Веденеева при кафедре экономики и организации строительства Ростовского инженерно-строительного института была организована группа студентов со специализацией «монтаж промышленного оборудования», где лекции читал Р. А. Завёрткин.

После Василия Александровича Веденеева в 1967 году бразды правления трестом «Южтехмонтаж» принял Николай Иванович Патрин. Он в 1947 году окончил Ленинградский институт холодильной промышленности, работал в Ростовском управлении «Мясомолмонтаж», в последнее время в качестве главного инженера. В тресте «Южтехмонтаж» начал трудовую деятельность в 1957 году начальником производственного отдела, в 1962 году стал заместителем управляющего, а в 1963 году его назначили главным инженером Северо-Кавказского производственно-распорядительного управления (СевКавПРУ) Минмонтажспецстроя СССР.

Николай Иванович Патрин был человеком работающим, глубоко порядочным и честным, отрицал всякий подхалимаж и взяточничество, умел отлично работать с подчинёнными, внимательно прислушивался к дельным советам. «О Николае Ивановиче Патрине можно вспоминать только самыми добрыми словами», — говорит о нём один из старейших ветеранов треста В. Я. Шурухин. Н. И. Патрин много внимания уделял работе с линейными инженерно-техническими работниками, с молодыми кадрами.

Когда начались работы на Невинномыском химкомбинате, Н. И. Патрин постоянно бывал там лично, что вызывало недовольство ростовских партийных руководителей. Были высказывания типа: «Что он там делает? Работает на Ставропольский обком?» Уже тогда на стройках Ростова процветала, как говорится, силовая (отнюдь не техническая и деловая) манера проведения оперативных и всяких других производственных совещаний, а Николай Иванович часто осмеливался возражать против навязываемых подразделениям «Южтехмонтажа» нереальных сроков исполнения



Н.И. Патрин

«Южтехмонтаж». Страницы истории

работ. Ему не раз говорили: «Не сделаешь ты — сделает (получит эту работу) другой!» Как-то сложилось, что все промахи монтажных управлений начали приписывать лично управляющему Н. И. Патрину. Да ещё на строительстве Невиномыского химкомбината случилась серьёзная авария — во время сложнейшего подъёма с применением двух 100-тонных кранов из-за неисправности одной из лебёдок упала дымовая труба. Н. И. Патрину в январе 1973 года пришлось уйти, и свою трудовую деятельность он заканчивал в качестве зам. управляющего трестом «Ювмонтажавтоматика».

Юрий Анатольевич Кузнецов был третьим по счету управляющим трестом «Южтехмонтаж». После окончания института он попал Орск Оренбургской области на строительство завода синтетического спирта, где он познакомился с будущим первым управляющим трестом «Южтехмонтаж» В. А. Веденевым. Работал мастером, прорабом, главным механиком. В «Южтехмонтаже» молодого и энергичного Ю. А. Кузнецова приняли на работу в ноябре 1957 года переводом из треста «Востокметаллургмонтаж» в качестве старшего инженера производственного отдела, затем перевели прорабом в Краснодарское монтажное управление. Он успел поработать



Ю.А. Кузнецов

на строительстве четырех сахарных заводов. Потом был Братск — целлюлозный комбинат. Юрий Анатольевич вернулся в трест, и в 1963 году, в 27 лет, ему поручили возглавить Второе Ростовское монтажное управление (РМУ-2). Далее он стал главным инженером и, через небольшой промежуток времени, приказом министра Ф. Б. Якубовского № 55-К от 02.03.73 г. назначен управляющим трестом «Южтехмонтаж».

Ю. А. Кузнецов был неутомимым созидателем. Он сделал очень многое для укрепления технической и социальной базы монтажников. В составе РМУ-2, помимо монтажных участков, Кузнецов создал строительный участок с двумя прорабами и коллективом строителей — каменщиками, плотниками, штукатурами. Взял на работу с проектной документацией опытного инженера-строителя. Постоянно работал с проектировщиками. Вся территория базы управления, которая раньше представляла собой большой захлащенный и грязный двор, была заасфальтирована. На ней в строгом порядке установили стеллажи для складирования труб и металлопроката, смонтировали козловой кран. Построили здания мастерских, цех по изготовлению металлоконструкций, гараж, склад закрытого хранения материалов и общежитие, надстроили на один этаж здание офиса управления. За короткий период силами строительного участка для монтажников было построено семь девятиэтажных домов, которые сдавали один дом за полтора-два года. На реке Маныч выше села Федулово Кузнецов построил рыболовно-спортивную базу, которая стала небольшим домом отдыха — монтажники и сейчас с удовольствием ездят туда порыбачить, отдохнуть «вдали от шума городского».

Когда Ю. А. Кузнецов стал управляющим трестом, он построил новые корпуса завода монтажных заготовок, подвёл к заводу железнодорожные пути, осуществил пристройку к административному зданию треста, продолжал строительство жилых домов, создал культурно-оздоровительный центр «Южтехмонтажа» — «Темп», надстроив два этажа над зданием РМУ-1. В «Темпе» организовывались концерты художественной самодеятельности коллективов треста, праздничные вечера, юбилеи старейших монтажников и командиров производства.

Кузнецов считал, что совместный отдых сплачивает коллектив. Запомнилось

празднование нового 1983 года. По предложению управляющего решили смастерить коня, который в год лошади должен был появиться перед монтажниками. Кузнецову доложили: «Коня изготовили, но он не может ржать». Юрий Анатольевич посоветовал умельцам подумать — поехать на ипподром и записать лошадиное ржание. В новогодний вечер, запряжённый в заваленные подарками сани, перед семьями монтажников появился Конёк-Горбунок и весело заржал. Замечательный праздник — удался!

Кузнецов сделал ещё одно доброе дело — в посёлке Архыз Карачаево-Черкесии, в прекрасной горной долине реки Зеленчук, силами треста в 1978 году был построен небольшой, но уютный пансионат «Красная скала», который действует и сегодня.

Управляющий трестом не всегда действовал обычными методами. Когда нужно было поправить дело на очередной стройке, Кузнецов направлял туда на 20-30 дней группу инженерно-технических работников исполнительной дирекции треста, которые трудились бетонщиками, электриками, подсобными рабочими. Такие «командировки» были в Архыз, на базу «Маныч», на строительство домов в Волгодонске, Шахтах, Ростове, на реконструкцию завода «Ростсельмаш».

Активно занимаясь собственным строительством, Ю. А. Кузнецов всегда был в курсе производства монтажных работ и, если это было необходимо, принимал нужные меры.

В 1983 году Ю. А. Кузнецова направили в заграничную командировку в Йемен, где он успешно выполнял обязанности руководителя монтажных работ.

Ю. А. Кузнецов награжден орденами Октябрьской революции и «Знак Почёта», двумя медалями, многими наградами ВДНХ. Его портрет — в галерее почёта ОКЦ «Темп».



В.В. Хурцев

Следующий управляющий трестом, Владимир Васильевич Хурцев, студентом третьего курса Новочеркасского политехнического института проходил практику на строительстве «Ростсельмаша» в бригаде, которая монтировала главный конвейер. Его преддипломная практика проходила на Волгодонском участке РМУ-2 «Южтехмонтаж» на строительстве химкомбината. После окончания с отличием института он работал в Нальчикском монтажном управлении мастером, прорабом, начальником участка, главным инженером управления. Молодой инженер многому учился у главного технолога треста Александра Степановича Жебровского и начальника Нальчикского управления Сергея Даниловича Солодова. Самым серьёзным монтажным объектом тогда был Тырнаузский молибденовый комбинат с жёстким графиком без праздников и выходных. От должности заместителя управляющего трестом «Южтехмонтаж» — отказался; предлагали работу и в Москве, но, когда предложили стать главным инженером треста, согласие дал и с января 1974 года переехал в Ростов. Своими наставниками В. В. Хурцев считает начальника Ростовского отдела института «Гипротехмонтаж» Давида Борисовича Шевчика и управляющего трестом Юрия Анатольевича Кузнецова.

С активным участием В. В. Хурцева проходили реконструкция «Ростсельмаша», строительство Невиномыского химкомбината, Прикумского завода пластмасс в Будённовске и Волгодонского «Атоммаша». Он руководил созданием нового монтажного управления в Волгодонске, которое вскоре возросло до двух тысяч человек. Управляющим Ю. А. Кузнецовым главному инженеру треста была предоставлена полная самостоятельность, — даже подписание приказов по тресту, чего ни в одном подразделении Минмонтажспецстроя не было, а здесь каждый занимался своим делом.

«Южтехмонтаж». Страницы истории

Владимир Васильевич Хурцев отдавал много времени подбору молодых кадров, постоянно поддерживал связи с политехническими и строительными институтами Ростова, Новочеркаска, Ставрополя, знакомился с дипломниками, приглашал на работу. С его легкой руки в трест пришли и стали талантливыми руководителями-монтажниками В. В. Свитенко, Д. И. Пуручиди, А. В. Горячкин.

Владимир Васильевич Хурцев был управляющим трестом «Южтехмонтаж» с 1983 по 1986 годы; всего он проработал в тресте 22 года. В феврале 1986 года В. В. Хурцева перевели на работу в Москву в Главтехмонтаж Минмонтажспецстроя СССР, а далее, после нескольких лет работы, он стал Заместителем министра. После перестроечных реорганизаций В. В. Хурцев — один из руководителей ОАО «Зарубежстроймонтаж». Сейчас Владимир Васильевич — руководитель нескольких крупнейших строек России в области нефтехимии и химической промышленности; благодаря ему осуществлены многие серьёзные проекты.

В 1996 году В. В. Хурцеву присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».



А.С. Авдеев

Анатолий Сергеевич Авдеев пришел в «Южтехмонтаж» в 1958 году после окончания Ленинградского технологического института, работал мастером, очень скоро стал прорабом и начальником участка. Приказом В. А. Веденеева был назначен зам. начальника РМУ-2. Вскоре молодой энергичный руководитель получил назначение заместителем начальника Северо-Кавказского производственно-распорядительного управления Минмонтажспецстроя СССР. Затем он возглавил это управление, — отвечал за работу всех специализированных трестов и управлений Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР в Ростовской области. Работал успешно, имел большой авторитет у руководства Ростова и области. Приказом министра № 36-К от 27.02.1986 г. А. С. Авдеев был назначен управляющим трестом «Южтехмонтаж», после образования закрытого акционерного общества в 1992 году стал генеральным директором ЗАО «Южтехмонтаж».

Годы работы Анатолия Сергеевича руководителем «Южтехмонтажа» были самыми тяжёлыми в истории коллектива: развал экономики, прекращение промышленного строительства, крах многих, даже очень крупных предприятий, безработица. Рассчитывались бартером (обменом продукцией), взаимозачётами — никаких денег! Отпуск материалов на сторону запрещался. Специалисты уходили в торговлю, в какие-то кооперативы и мини-предприятия. В тяжелейших условиях Авдеев укреплял связи между подразделениями треста, делал всё для сохранения фирмы, и трест «Южтехмонтаж» (и кадры, и немалое имущество) удалось сохранить.

А. С. Авдеев принимал самое активное участие в общественной работе. По инициативе ведущих строительных организаций Ростовской области и лично Авдеева в 1995 году была создана Ассоциация строителей Дона, президентом которой он был много лет. Он избирался делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС, был членом городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, работал в составе оргкомитета по проведению литературных конкурсов имени А. П. Чехова и В. А. Закруткина.

В годы, когда решалась «продовольственная программа», Анатолий Сергеевич добился отвода земли и организовал для трудящихся треста «Южтехмонтаж» два садоводческих товарищества.

Анатолий Сергеевич Авдеев был весёлым, компанейским человеком, любил шутить, петь, любил охоту, рыбалку.

Виталий Васильевич Свитенко родился в хуторе Мокрый Лог близ города Шахты. После окончания Новочеркасского политехнического института в 1978 году пришёл в Волгодонское монтажное управление «Южтехмонтаж». Молодого мастера направили на объекты Волгодонского химкомбината, а через полгода он уже работал мастером на «Атоммаше» под началом опытного В. В. Ивахненко. Виталий Васильевич вспоминает: «Мастеров не хватало. В первую смену приходилось работать на монтаже печей и закалочных комплексов в главном корпусе. Во второй — грузоподъёмные механизмы, промпроводки».

Энергичного молодого инженера избрали секретарём комитета комсомола организаций Минмонтажспецстроя СССР в Волгодонске. Он успешно выполнил поставленную задачу — организовал более двадцати комсомольско-молодёжных бригад. Но хотелось на производство, и он быстро вернулся «в строй», стал начальником участка. Назначили главным инженером, потом начальником монтажного управления. Учитывая особую важность строительства «Атоммаша», согласовывать назначения В. В. Свитенко пригласили к министру Борису Владимировичу Бакину, хотя обычно такие назначения утверждал начальник Главка. Министр спросил: «Атоммаш» не провалишь? — Будешь самый молодой начальник управления». Это было в декабре 1987 года.

Не провалил! При В. В. Свитенко Волгодонское управление стало лучшим в тресте «Южтехмонтаж».

После неожиданного ухода из жизни А. С. Авдеева встал вопрос: кому занять место генерального директора. Два кандидата на эту должность — Евгений Иосифович Добролежа и Сергей Тимофеевич Провоторов, директора РМП-1 и монтажно-наладочного предприятия — приехали к кандидату третьему — самому молодому из них, Виталию Васильевичу



В. В. Свитенко

Свитенко с предложением возглавить «Южтехмонтаж». После достаточно долгих раздумий (вполне сложившаяся жизнь в сильном коллективе, уезжать из Волгодонска, которому было отдано 22 года жизни, не хотелось) Виталий Васильевич согласился. Но поставил условие, чтобы оба, Провоторов и Добролежа, стали его заместителями, а один из них должен перейти в исполнительную дирекцию. За кандидатуру В. В. Свитенко высказались все директора предприятий ЗАО «Южтехмонтаж», и 21 мая 2001 года собрание акционеров единогласно поддержало эту рекомендацию. Почти два года Виталий Васильевич буквально разрывался на части, будучи генеральным директором и продолжая возглавлять Волгодонское монтажное предприятие. Пятница и понедельник — в Волгодонске, остальные дни в Ростове. Но вскоре всё встало на свои места — В. В. Свитенко переехал в Ростов, С. Т. Провоторов возглавил совет директоров и стал первым замом генерального директора, Е. И. Добролежа оставил свое РМП-1 и занял должность технического директора ЗАО «Южтехмонтаж».

Генеральный директор В. В. Свитенко — Заслуженный строитель России, человек высокого интеллекта, умеющий принимать быстрые решения и осуществлять грамотную техническую и экономическую политику. Ему свойственны спокойная манера общения, глубокое знание дела, грамотная, чёткая постановка задач, обязательность и порядочность. Все объекты ЗАО «Южтехмонтаж» всегда под его неослабленным

вниманием — он постоянно бывал и в Морозовске, и в Перми, и в Высоцке, и в Ухте, и в Будённовске, и в Новороссийске, и в Подгоренском.

В. В. Свитенко — член совета саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство «Строители Ростовской области».

Но фирму «Южтехмонтаж» надо было возрождать, догонять время!

В исполнительной дирекции создали службу подготовки производства, организовали технический и сметно-договорной отделы, укрепили проектное бюро, набрали сильные кадры. Значительно возрос уровень технической оснащённости, а то ведь в 2000 году в тресте было всего два старых компьютера! Начали покупать краны большой грузоподъёмности, трейлеры, большегрузные автомобили, тракторы, компрессоры, сварочное оборудование. В 2006 году закупили в Китае, смонтировали на заводе металлоконструкций и ввели в эксплуатацию автоматизированную линию по производству сварных двутавровых балок.

К директорам предприятий предъявлялись требования: увеличиваются ли объёмы производства, вовремя ли платится зарплата, как осуществляются экономическая и техническая политика, решаются ли другие проблемы коллектива. . . Многих директоров пришлось заменить, но делалось это предельно деликатно. Виталий Васильевич Свитенко говорит: «Душа болит за каждый коллектив. Я радуюсь успеху каждого предприятия, и огорчаюсь в случае неудачи — так же сильно».

ЗАО «Южтехмонтаж» успешно выступает в роли предприятия-генпод-рядчика, активно привлекая в качестве исполнителей работ не только кадры организаций своего холдинга, но и многие специализированные и общестроительные предприятия, с которыми у «Южтехмонтажа» сложились постоянные производственные связи.

Намечены кардинальные мероприятия по подготовке кадров, как рабочих, так и молодых специалистов.

Руководители треста и ЗАО «Южтехмонтаж» всегда делали так, чтобы все предприятия считали себя членами единой дружной семьи, чувствовали локоть партнёра, знали, что нужны друг другу. Чтобы было взаимопонимание между руководителями, чтобы они всегда имели между собой тесную товарищескую связь. Ни одно из крупных объектов фирмы не создавало самостоятельно какое-то подразделение. — Когда все вместе, легче преодолевать трудности и тяготы. И сегодня многие заказчики хотят иметь дело с партнёром, который зарекомендовал себя достаточно надёжно.

Сегодня Генеральный директор, совет директоров ЗАО «Южтехмонтаж», командиры предприятий — это союз единомышленников, дружная и слаженная команда руководителей, профессионалов-монтажников.

Главными инженерами треста и ЗАО «Южтехмонтаж» работали Лев Давидович Полонский, Виктор Сергеевич Фомин, Юрий Анатольевич Кузнецов, Владимир Васильевич Хурцев, Игорь Леонидович Попов, Евгений Иосифович Добролежа, заместителями управляющего, заместителями генерального директора — Пётр Семенович Хаустов, Артём Иванович Иоанесян, Николай Иванович Патрин, Андрей Сергеевич Сторчеус, Валентин Александрович Подлесный, Яков Львович Нейман, Борис Семёнович Опекунов, Александр Никифорович Ильин, Семён Александрович Теплицкий, Владимир Александрович Хижняков, Николай Николаевич Лявшин, Сергей Тимофеевич Провоторов, Георгий Степанович Силак.

Коваленко Николай Иванович — личность легендарная. Он — первый и единственный в системе ЗАО «Южтехмонтаж» Герой Социалистического Труда. Николай Иванович всю жизнь проработал во Втором монтажном управлении «Южтехмонтаж». Объектов, на которых он трудился, сотни. Его всегда отличала способность заранее продумать технологию монтажа, внести эффективную рационализацию, организовать поток, применить укрупнение конструкций и оборудования. В его бригаде работали отличные монтажники и даже, можно сказать — «асы» монтажного производства: Р. Зайф, А. Осипов, В. Кардашьян, А. Евтихов, В. Назаров, П. Мартыненко, Х. Мнаца-

канян, В. Галка. Многие из них сами стали бригадирами, прорабами, инженерами, предпринимателями. Воспитанником Н. И. Коваленко является Виктор Николаевич Анпилогов, который стал мастером, прорабом, главным инженером, а потом даже Первым заместителем губернатора области и Первым заместителем полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе. Все члены бригады овладели двумя-тремя специальностями. По расчётам экономистов бригада Н. И. Коваленко выполняла за пять лет и два месяца девять годовых заданий.

Бригада Коваленко успешно работала практически на всех объектах реконструкции завода «Ростсельмаш». В репортажах о монтажных работах и передовиках производства на этой стройке многотиражная газета «Ростсельмашевец» назвала фамилию Н. И. Коваленко более сотни раз.

Энергичные действия Н. И. Коваленко, направленные на ускорение монтажа, иногда были «не вполне стандартными». Однажды при монтаже межцеховых коммуникаций на «Ростсельмаше» его бригаде нужно было срочно переместить гусеничный кран МКГ-25 с длинной стрелой через действующие заводские железнодорожные пути. Для этого нужно было или соорудить целый переезд, или демонтировать у крана стрелу и перегонять его длиннейшими окольными путями. Выбрав момент, когда не было движения по железнодорожному пути, Коваленко быстро снял два рельса, перегнал кран и немедленно поставил рельсы на место, закрепив их, как положено. Появилась охрана, какие-то власти, кричали: «Сейчас будут идти составы!», — но путь уже был восстановлен.



Н.И. Коваленко

Николай Иванович был удостоен высоких наград: орденов Ленина, «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта».

Крылатая фраза «Если не я, то кто?» — была для Н. Коваленко непреложным законом жизни. Его избирали членом президиума Облсовпрофа, делегатом отраслевых и всесоюзных съездов профсоюза».

В первые годы своей работы «Южтехмонтаж» активно участвовал в развитии пищевой промышленности страны — на Северном Кавказе его силами было смонтировано несколько десятков сахарных заводов, продолжались монтажные работы на хлебозаводах, молкомбинатах, винзаводах. Далее в процессе наращивания мощного промышленного потенциала государства наступил черед роста машиностроения, металлургии и нефтеперерабатывающей промышленности, химических удобрений. Уже тогда монтажники работали на «Ростсельмаше», Каменском комбинате искусственного волокна,

Сегодня ЗАО «Южтехмонтаж» — старейшая и мощнейшая специализированная фирма на Юге России по монтажу, наладке и пуску в эксплуатацию технологического оборудования всех отраслей промышленности.

В 2012 году ЗАО «Южтехмонтаж» (в прошлом трест «Южтехмонтаж») исполнилось 55 лет. За плечами коллектива не просто очень большое, а огромное количество построенных объектов, — их более 8 тысяч. Монтажники фирмы «Южтехмонтаж» принимали активное участие в создании таких крупнейших предприятий, как заводы «Ростсельмаш» и «Атоммаш», Будённовский завод пластмасс, Таганрогский металлургический комбинат и Таганрогский комбайновый завод, Волгодонский и Невиномыский химкомбинаты, Азовский комбинат детского питания, Новочеркасские заводы — электровозостроительный, электродный и синтетических продуктов,

«Южтехмонтаж». Страницы истории

комплекс объектов холдинга «Юг Руси — Золотая семечка» в Ростове-на-Дону, химические и нефтеперерабатывающие заводы компании «Лукойл» в Перми, Ухте, Высоцке, Казани, Волгограде, Рязани, нефтяные терминалы в Новороссийске, Азове и Туапсе, объекты в Астане, Домодедово, на автозаводе АЗЛК в Москве. Вели монтажные работы в Сумгаите и Рустави, Черкесске и Пятигорске, Ессентуках и Минеральных водах, Ереване и Кишинёве, Красноярске... Этот список можно продолжать и продолжать.

Мы работаем не только на объектах промышленного строительства. Добрым словом вспоминают жители города Сочи монтажников, которые выполнили металлоконструкции трибун на стадионе имени Славы Метрели. На нашем «счете» — многие холодильники, откормочные комплексы и заправочные станции. Южтехмонтажевцы исполняли даже такую уникальную работу, как монтаж крупнейшего телескопа диаметром 6 метров на Зеленчукской обсерватории в Карачаево-Черкесии, монтаж сценического оборудования музыкального театра в Ростове-на-Дону, монтаж холодильных установок и системы охлаждения ледяного поля во Дворце спорта, холодильные системы в магазинах «Океан» в Ростове-на-Дону.

Специалисты «Южтехмонтажа» успешно трудились на строительстве объектов в Иране, Ираке, Сирии, Индии, Бангладеш, Алжире, Афганистане, Йемене, Нигерии, Монголии, Египте, Ливии, на Кубе.

«Южтехмонтаж» имеет многолетний опыт совместной работы с зарубежными фирмами Германии, Франции, Японии, Бельгии, Италии, Финляндии, Англии, США, Венгрии, Польши, Турции, Кореи. За границу в Германию, Австрию, Италию и Швецию успешно реализовывались изготовленные Волгодонским предприятием «Южтехмонтаж» стальные паллеты для камнерезательных машин. Отечественные и зарубежные фирмы высоко оценивают уровень и качество работ, выполняемых специалистами фирмы «Южтехмонтаж» в соответствии с требованиями российских и европейских стандартов.

ЗАО «Южтехмонтаж» объединяет в своем составе 9 монтажных предприятий с производственными базами в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске, Сочи, два предприятия по изготовлению металлоконструкций. В составе ЗАО «Южтехмонтаж» действуют проектно-конструкторское бюро, лаборатории — сварочная и дефектоскопии.

Высокое качество и темпы выполнения работ, высокая квалификация работников, ответственность за порученное дело — такова характеристика коллектива ЗАО «Южтехмонтаж». Монтажники всегда стараются не нарушать своих обещаний, гордятся своим высоким профессионализмом, гордятся званием монтажника и принадлежностью к старейшему и прославленному коллективу «Южтехмонтажа». «Южтехмонтаж» — это, прежде всего, замечательные люди — монтажники и сварщики, сборщики металлоконструкций и дефектоскописты, крановщики и водители, сметчики и бухгалтеры, мастера и прорабы, главные инженеры и директора предприятий.

О достижениях коллектива треста свидетельствуют орден Трудового Красного знамени, Почетный знак «За трудовую доблесть в IX пятилетке», многочисленные переходящие и памятные знамена и дипломы за победы в соревнованиях. Многие монтажники носят звания Заслуженных строителей и Почетных монтажников России. Одних медалей ВДНХ получено более двухсот.

Тресту «Южтехмонтаж» пришлось пережить один из самых сложных периодов «реформ» и «перестроек». Рушилась создаваемая годами и десятилетиями система: полностью прекратилось промышленное и сельскохозяйственное строительство, даже начатые объекты были законсервированы. Прекратилась реконструкция «Ростсельмаша», построенный в Волгодонске замечательный завод «Атоммаш» так и не стал выпускать атомные реакторы. Началась распродажа предприятий. Бесчисленное количество оборудования было продано на металлолом. Перестали

существовать профессионально-технические училища, которые готовили кадры монтажников и сварщиков. Чтобы не сидеть без работы, из монтажных управлений уходили рабочие, инженеры. У оставшихся — серьёзных работ не было, терялась квалификация. Превращались в кооперативы и выбывали из системы треста многие монтажные участки. От сильных когда-то ростовских специализированных трестов Минмонтажспецстроя СССР «Кавсантехмонтаж» «Ювмонтажавтоматика», «Юж-стальконструкция», «Кавэлектромонтаж» остались жалкие остатки. В Ростовской области перестали существовать многие крупные строительные тресты.

Монтажные управления треста «Южтехмонтаж» стали самостоятельными акционерными обществами. Пошли разговоры о том, что трест (теперь — ЗАО «Южтехмонтаж») уже не нужен вообще, что управления совершенно спокойно будут работать и без него. Исполнительная дирекция треста «Южтехмонтаж», насчитывавшая более 120 человек, сократилась до двух с небольшим десятков работников.

И вот здесь тогдашний генеральный директор Анатолий Сергеевич Авдеев проявил стратегическую мудрость в сохранении коллектива монтажников. Несмотря на формальную самостоятельность предприятий, исполнительная дирекция ЗАО «Южтехмонтаж» по-прежнему координировала их действия на крупных объектах, помогала решать вопросы лицензирования, разработки рабочей документации и проектов производства работ, обучения кадров, контроля сварочных работ лабораторией дефектоскопии. Появились первые объекты, где исполнительная дирекция ЗАО «Южтехмонтаж» выступила в роли генерального подрядчика.

А дальше — шло время и коллектив ЗАО «Южтехмонтаж» медленно, но верно, поднимался на ноги, снова превращаясь в мощное монтажное предприятие на Юге России.

Сегодня ЗАО «Южтехмонтаж» возглавляет опытный высококвалифицированный инженер Виталий Васильевич Свитенко. Генеральный директор В. В. Свитенко — специалист с большим производственным опытом (32 года на монтаже), человек высокого интеллекта, умеющий принимать быстрые решения и осуществлять грамотную техническую и экономическую политику.

В 2006-2007 годах «Южтехмонтаж» оказался кому-то лакомым кусочком, который можно выгодно приобрести, а потом ещё более выгодно продать. Начались нападки чёрных рейдеров, появились пасквилы в средствах массовой информации, попытки очернить Совет директоров. Руководителям ЗАО предлагали большие суммы отступного. Но рейдерам был дан активный и достойный отпор.

«Южтехмонтаж» шагает в ногу со временем. Мощная монтажная организация на ряде строек всё чаще принимает на себя функции генерального подрядчика, выполняя работы и по сооружению фундаментов, кирпичной кладке и отделке, устройству подъездных путей и площадок складирования, обеспечению электроэнергией, по поставке оборудования, даже импортного. Вместе с привлекаемыми специалистами



Монтаж козлового крана на спецпричале завода «Атоммаш».

«Южтехмонтаж». Страницы истории

из строительных и специализированных монтажных организаций, ЗАО «Южтехмонтаж» обеспечивает производство всех строительного-монтажных и пусконаладочных работ со сдачей объектов «под ключ». Такие работы были выполнены на строительстве бумагоделательного комплекса предприятия «Юг Руси — Золотая семечка» в Ростове-на-Дону и крупного терминального комплекса мазута мощностью 4 млн. тонн в год в Новороссийске, на нескольких небольших, но специфичных, объектах — автогазозаправочных станциях в Ростовской области.

Из последних построенных крупных объектов можно назвать Морозовский маслоэкстракционный завод, комплекс полипропилена предприятия «Ставролен» в Будённовске, Новороссийский комплекс перевалки нефтепродуктов.

ЗАО «Южтехмонтаж» работает на строительстве технологической линии по изготовлению цемента производительностью 6000 тонн клинкера в сутки в посёлке Подгоренский Воронежской области, на Туапсинском нефтеперерабатывающем за-



Монтаж оборудования комбикормового завода в совхозе «Братский» Ростовской области

воде. На этих стройках успешно трудились и трудятся коллективы всех подразделений ЗАО «Южтехмонтаж», а также строители и монтажники — субподрядчики из Ростова, Новороссийска, Каменска, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Старого Оскола, Нижнего Новгорода, Россоши, Таганрога, Черкесска.

В настоящее время «Южтехмонтаж» ведёт работы на одном из наиболее динамично развивающихся и перспективных предприятий — Афиском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, соседнем предприятии — Ильском нефтеперерабатывающем заводе, на топливно-заправочном комплексе в городе Крымске, на предприятии «ЕВРАЗ — Южный стан» в Усть-Донецке Ростовской области и Абинском электрометаллургическом заводе.

Совсем непросто сегодня в сложнейшей обстановке рынка, при мизерных объёмах промышленного строительства иметь пол-

ную загрузку и успешно работать такому большому коллективу специалистов.

Тем не менее, в 2010 году ЗАО «Южтехмонтаж» выполнил строительного-монтажные работы на сумму 4 миллиарда рублей, за 2011 год на 7.6 миллиарда. В системе «Южтехмонтажа» трудятся 2300 работников.

Коллектив ЗАО «Южтехмонтаж» — флагман строительной индустрии, лидер монтажного производства Дона, по объёму реализованной продукции он находится в числе крупнейших предприятий Южного Федерального округа России. Сегодня ЗАО «Южтехмонтаж» имеет возможность только одних металлоконструкций изготовить в год более 12 тысяч тонн и смонтировать свыше 10 тысяч тонн оборудования.

ЗАО «Южтехмонтаж» и его подразделения неоднократно завоевывали звания лидеров строительного комплекса России, входили в число 150-ти, 100 и даже 30-ти лучших строительных организаций, предприятий строительных материалов и строительной индустрии России, получали звания «Надёжные организации строительного комплекса», были лауреатами премии «Российский строительный Олимп», награждены многими дипломами.